

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

•

ПЕРЕД ПОТУХШИМ КАМЕЛЬКОМ

•

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА
1960

П. В. ЗАСОДИМСКИЙ

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ



ПЕРЕД ПОТУХШИМ КАМЕЛЬКОМ



Текст печатается по изданию
Собрание сочинений П. Засодимского (Вологдина),
т. II, Спб. 1895

ПИСАТЕЛЬ-ДЕМОКРАТ П. В. ЗАСОДИМСКИЙ

В первых числах января 1891 года Лев Толстой получил в Ясной Поляне рассказ, который так понравился ему, что он затем прочел его всей семье и даже хотел напечатать отдельным изданием. В письме к Толстому автор просил его высказать свое мнение и написать, может ли такое произведение «хоть сколько-нибудь отклонить человека от зла»[1]. В своем ответе Толстой горячо поддержал и замысел произведения, и его художественное воплощение. «Это то самое искусство, которое имеет право на существование,— писал он.— Рассказ прекрасный, и значение его не только ясно, но хватает за сердце... Рассказ очень, очень хороший и по форме и по содержанию, и очень благодарен вам за присылку его»[2].

Рассказ этот — «Перед потухшим камельком» — принадлежал известному писателю-народнику Павлу Владимировичу Засодимскому.

В кругу литераторов, тесно связанных с народническим движением 70—80-х годов, Засодимский занимал заметное место; на протяжении ряда лет его произведения появлялись в лучших передовых журналах своего времени — «Деле», «Отечественных записках» и других — и пользовались значительной популярностью среди демократически настроенных русских читателей. Автор широко известной «Хроники села Смурина», многих романов, повестей и рассказов «из деревенских летописей», талантливый детский писатель, Засодимский принадлежал к тому поколению русской разночинной интеллигенции, которое пришло на смену славной плеяде демократов-шестидесятников, соратников и учеников великого Чернышевского. Путь Засодимского в литературе был типичен для писателя-разночинца,

---

[1] Письмо П. В. Засодимского к Л. Н. Толстому, 28 декабря 1890 г., Государственный музей Л Н. Толстого, Москва.

[2] «Л. Н. Толстой о литературе», М. 1955, стр. 253.

посвятившего свое творчество правдивому рассказу о жизни обездоленных народных масс, горькой правде русской пореформенной деревни.

П. В. Засодимский родился 1 ноября 1843 года в городе Великий Устюг Вологодской губернии, в небогатой дворянской семье. Его детские годы прошли в уездном городке Никольске, «затерявшемся посреди лесов», а затем в деревне. Тесное, непосредственное общение с миром русского крестьянина пробудило у мальчика Засодимского его «демократические инстинкты», как выразился он позднее в автобиографической заметке [1],— чувство глубокой любви к народу, веру в его силу и талантливость, преклонение перед его трудом. Писатель говорил, что провел в деревне половину жизни, «с малых лет жил среди народа, узнал его и полюбил». Это ощущение кровной связи с народом Засодимский пронес через все свое творчество художника-просветителя.

Мимо усадьбы проходила большая дорога, по которой часто шли на каторгу партии арестантов. «Мне было ужасно жаль,— вспоминал Засодимский,— этих серых людей, с цепями и с железными оковами на ногах» [2]. В обстановке патриархального помещичьего быта смутно созревало внутреннее ощущение протеста против несправедливости общественных отношений.

С малых лет любимым занятием Засодимского стало чтение. Он «читал много и без разбора», «читал и днем в свободное время, читал и по вечерам, читал и рано поутру, поднимаясь с огнем» [3]. Книги заставляли задумываться над жизнью, «развивали гуманные чувства», призывали бороться с несправедливостью и злом и «становиться на сторону угнетенных» [4]. В большой библиотеке отца Засодимский встретил своих верных и «неизменных друзей». Пушкин сразу «очаровал» его и «сделался любимцем» [5], писатель навсегда сохранил воспоминания о первом знакомстве с книгами Державина и Гоголя, Плутарха и Вальтера Скотта. Вскоре ему захотелось сочинять самому: девяти лет он написал повесть о судьбе всеми отверженного бесприютного сироты, а одиннадцати — полную ужасов пьесу, которая тут же была разыграна его деревенскими сверстниками.

В 1856 году Засодимский поступил в дворянский пансион при Вологодской гимназии. Годы учения оставили глубокий след в жиз-

---

[1] «Голос минувшего», 1913, кн. 5, стр. 146.
[2] П. Засодимский, Из воспоминаний, М. 1908, стр. 40.
[3] Там же, стр. 27—28.
[4] Там же, стр. 28.
[5] Там же, стр. 27.

ни будущего писателя. Это было время большого общественного возбуждения в стране; молодежь жадно впитывала «новые веяния», проникавшие в самую глухую и отдаленную провинцию. «С начала шестидесятых годов,— вспоминал Засодимский,— у нас повеяло новым духом. Читали гончаровского «Обломова», «Детство и отрочество» Л. Толстого, повести Тургенева, стихотворения Некрасова, из которых многие заучивались наизусть, декламировались»[1]. Увлекались статьями Белинского, некоторые из гимназистов добывали «Современник» и «Русское слово». Засодимский зачитывался заграничными изданиями Герцена. «Позже, наряду с Герценом,— писал он,— сильное влияние оказали на мое умственное развитие и на склад моих убеждений Чернышевский и Добролюбов»[2].

В 1863 году, по окончании курса гимназии, Засодимский приезжает в Петербург; два года он занимается в университете, на юридическом факультете, а затем, за недостатком средств, был вынужден оставить учение и уехать «на уроки» в Пензенскую губернию. Начиналась жизнь труженика-разночинца, полная лишений и бесконечных странствий «по градам и весям». Даже в 70-х годах, будучи уже писателем, Засодимский вынужден был оставаться народным учителем на селе.

В 1868 году в печати появилась первая повесть Засодимского — «Грешница», за ней последовала повесть «Волчиха», впоследствии переделанная им в драму «Темные силы». В 1874 году в «Отечественных записках» была опубликована «Хроника села Смурина» — одно из крупнейших произведений народнической беллетристики 70-х годов. Засодимский знакомится с видными писателями тех лет, в том числе Салтыковым-Щедриным, Некрасовым, Г. Успенским, Левитовым, Плещеевым, Курочкиным и другими, особенно близко он сходится с писателями народнического направления.

Засодимский вступил, по его выражению, «на тернистое поле русской литературы» как наследник демократических традиций писателей-шестидесятников. «Все мои горячие симпатии,— по праву писал он,— всегда были и остались на стороне бедных, обездоленных, на стороне рабочих масс. Ни в одной строке, написанной мною, читатель не найдет ни единого выражения, которое противоречило бы этой основной идее моей жизни и деятельности»[3]. В произведениях Засодимского возникали типичные для демократической литературы мрачные картины жизни деревни, быта городской бедноты; его внима-

---

[1] П. Засоднмский, Из воспоминаний, М. 1908, стр. 153.
[2] «Голос минувшего», 1913, кн. 5, стр. 146.
[3] П. В. Засодимский, Собр. соч., т. I, Спб. 1895, стр. III.

ние принадлежит людям, «живущим впрохолодь и впроголодь», для которых «жизнь на белом свете представляется не веселее вечной каторги».

Изображая с разных сторон глубокие исторические процессы, происходившие в русской пореформенной действительности, становление нового буржуазного строя, Засодимский постоянно обращался в своих романах, повестях и рассказах — таких, как «Хроника села Смурина», «Кто во что горазд», «По градам и весям» и другие — к темам крушения патриархального быта, жестокой эксплуатации крестьян кулачеством. Но вместе с тем он сохранял светлую оптимистическую веру народника в русского мужика как ведущей силы предстоящего социального переворота, как воплощения свободного будущего России; общинный быт русской деревни ему по-прежнему представлялся идеальной формой социальных отношений. Произведениям Засодимского, как и близкого ему другого талантливого писателя-народника Н. Н. Златовратского, меньше всего было присуще трагическое сознание краха народнического учения, окрасившее, например, зрелое творчество Глеба Успенского. Это внутреннее противоречие, характерное для творчества и идейной позиции Засодимского в общественной борьбе своего времени, определяло его своеобразие как писателя-народника.

Современники часто упрекали Засодимского в том, что он преимущественно видел темные стороны действительности, что из его произведений читатель выносил тяжелое впечатление; перед ним обычно вставали «неурядица русской жизни, борьба сытых и голодных», «задавленные ростки здоровых сил, гибнущее геройство, торжествующее насилие, неурядица и в душе простого русского человека, ищущего правды и света, и в душе интеллигентного, сознающего путь правды и свое бессилие идти этим путем»[1]. Однако в этих мрачных картинах раскрывалась гуманистическая природа творчества Засодимского — писателя большой любви к людям, безграничной веры в торжество светлых начал, связанных для него прежде всего с образом простого человека. «Я люблю человека,— говорил он,— кто бы он ни был», даже если он стоит «в самом низу общественной лестницы»[2]. Писатель стремился забросить «в душу читателя добрые чувства и мысли — любовь к ближним, отвращение к злу, к насилию и сострадание к несчастью»[3].

---

[1] М. Цебрикова, Беллетрист-народник, «Русская мысль», 1896, кн. II, стр. 66.
[2] П. В. Засодимский, Собр. соч., Спб, 1895, т. I, стр. 11.
[3] Там же, стр. I.

В своих бедных, униженных героях, гибнущих под тяжестью горьких и незаслуженных испытаний, Засодимский умел разглядеть подлинно человеческое достоинство, душевную чистоту и большую нравственную силу. Значительный интерес в этом отношении представляет рассказ писателя «На большой дороге», впервые опубликованный в 1884 году в первой книге журнала «Наблюдатель». Как во многих других произведениях Засодимского, в рассказе непосредственно отразились впечатления писателя, оставшиеся в его памяти с времен далекого детства. И село Васютино на большой почтовой дороге, и толпы «странного и жалкого люда» на ней — нищих, калек, крестьян, оставивших свои углы ради поисков работы,— и образ самого Петровича, почтового смотрителя, терпеливо несущего свой крест, выступают в рассказе как сама жизнь, раскрытая тонким и наблюдательным художником. Тяжелая доля выпала Петровичу, одно за другим обрушиваются на него несчастья; «поистине трагическое, ужасное положение» бедного смотрителя само по себе глубоко волнует читателя. Но Засодимский идет дальше, и подлинный трагизм судьбы Петровича становится особенно наглядным, когда перед нами раскрывается его «прекрасная мужественная душа», светлый духовный мир этого обиженного и затравленного человека. Недаром васютинцы «любили его за простоту и уживчивость», за его беседы с мужиками «по душе»; он был, пишет Засодимский, «великий человек, несмотря на то что назывался простым почтовым смотрителем».

Однако в той прозаической среде, в которой жил Петрович, его внутреннее богатство, его душевная чистота могли раскрываться только наедине с природой. «В лесу Петрович совершенно преображался. Глаза его смотрели веселее обыкновенного, губы улыбались, и наивная детская радость светилась на его лице, разгоревшемся от ходьбы и волнения». Социально-обличительная направленность рассказа в этом контрасте жизни на природе и в мире человеческой несправедливости, воплошенной в проезжающем губернаторе, получала яркое и острое выражение. Обратившись к излюбленному в русской литературе образу маленького, забитого человека, писатель сумел найти в нем такие существенно важные и своеобразные черты, как душевная стойкость, мужество, тонкое чувство родной природы, близость к деревенскому люду.

В рассказе «Перед потухшим камельком», появившемся в 1891 году в январской книжке журнала «Северный вестник», писатель обращается к совершенно другой теме — развенчанию преуспевающего человека с маленьким ограниченным кругозором, холодного эгоиста, глубоко равнодушного к передовым идеалам, обывателя,

готового ради своего мещанского благополучия совершить самый низкий поступок.

Наедине с собою, «перед потухшим камельком», герой вспоминает свою жизнь; она проходит перед ним, страница за страницей, жизнь мелкого, пошлого эгоиста, пустая и бесцветная. Моральное падение героя в рассказе последовательно связывается с его безразличием к общественным вопросам времени, откровенным равнодушием к статьям «какого-нибудь Добролюбова». «Странно! — размышляет герой рассказа.— Вокруг меня — целый мир, все человечество, а я между тем чувствую себя отрезанным от мира, совсем одиноким, словно живу на каком-нибудь необитаемом острове». Он называет его «островом Личного Благополучия»,— но вот жизнь прожита, и оказывается, от нее, как в камельке, «остался только холодный пепел», «все прогорело и потухло». Герой не хочет сдаваться, его воспоминания — это исповедь воинствующего мещанина, настороженного и озлобленного. Он не видит ничего предосудительного в своих поступках, не знает, «за что же бы совести грызть» его, в чем же, собственно, должна погубленная им Леночка простить его. И все-таки через его сознание прошла глубокая трещина: «В моих комнатах... мне вдруг показалось так же холодно и пустынно, как в *том* сосновом лесу, занесенном снегом... Мне захотелось — к людям».

В период тяжелого «безвременья» в России 80-х годов Засодимский утверждал своим рассказом идею общественного служения человека как высший смысл любой деятельности. Не потому ли писатель причислял «Перед потухшим камельком» к «наиболее ценному», что было создано им в беллетристике. Действительно, этот рассказ может быть отнесен к лучшим произведениям Засодимского. Недаром его так высоко оценил Толстой, которому, по его словам, вообще «всегда нравилось» то, что писал Засодимский [1].

Посылая «Перед потухшим камельком» Толстому, писатель спрашивал, хватило ли ему «уменья высказать все, что было нужно», и если нет, то «почему читатели могут не увидать в нем» того, что автору хотелось показать [2]. Но Толстой не нашел в рассказе «слабых сторон»; «все сильно»,— отвечал он, хотя далее обратил внимание на некоторые места, показавшиеся ему недостатками произведения. Отзыв Толстого, по словам Засодимского, подействовал на него «с особенной силой»: «...ваше одобрение — самое большое, чего я

[1] «Л. Н. Толстой о литературе», М. 1955, стр. 263.

[2] Письмо П. В. Засодимского к Л. Н. Толстому, 28 декабря 1890 г., Государственный музей Л. Н. Толстого, Москва.

только мог желать как человек и писатель»[1]. Через несколько лет, в 1895 году, подготавливая собрание своих сочинений, Засодимский тщательно выправил журнальный текст рассказа, и прежде всего по замечаниям Толстого. Так, Толстой считал, что «во многих местах слишком подчеркнута дрянность рассказчика, например, где он говорит про свою храбрость — товарищ, дворник, дуэль»; «это надо выкинуть»,— заключал он. Толстой тонко заметил, что герой в своих собственных глазах вовсе не должен был выступать в особенно мрачном и непривлекательном облике; ведь сам себе он кажется и хочет казаться вполне добропорядочным человеком. И Засодимский удаляет из первоначальной редакции рассказа целый абзац воспоминаний героя о том, как он еще мальчишкой, в гимназии, донес инспектору на «шалости» одного из своих товарищей и «имел удовольствие слышать» его крики во время наказания, как в «Петербурге раз за грубость хлопнул по щеке дворника», наконец, как однажды на улице «вызвал на дуэль какого-то старика» за то, что тот толкнул шедшую с ним «дамочку». Подробности эти действительно как бы разоблачали героя перед ним самим, между тем он только в конце рассказа начинает испытывать смутное чувство раскаяния: «Все как будто чего-то жаль, чего-то совестно...»,— заглушая свою тоску призрачным успокоением: «Не я первый и не я *последний*...»

С другим замечанием писателя Засодимский не согласился. Толстому показались «неверными» для образа рассказчика «его рассуждения и чувство под взглядом ребенка»; «притом,— писал он,— у новорожденных не бывает голубых глаз». Засодимский убрал из рассказа упоминание о *голубых* «глазенках» сына героя, но в остальном этот кусок его воспоминаний оставил без изменений как намек на то человеческое, совестливое, что все-таки еще теплилось в душе этого опустившегося человека — и что он грубо подавлял сам в себе: «Нервы, конечно! Если сутки поволнуешься, недоешь, недопьешь, не поспишь ночь, так, разумеется, каждый пустяк может довести чуть не до обморока...»

Толстому, наконец, не понравились в конце рассказа мечты героя «о том, что могло бы быть, о елке»[2]. Засодимский описывал, как герою представился его маленький Саша, ставший взрослым: «Он теперь, вероятно, уже кончал бы гимназию... Может быть, сегодня в зале у нас горела бы елка, детишки бегали бы кругом ее. Ярко горели бы разноцветные свечи, ярко блестели бы в зеленых ветвях

---

[1] Письмо П. В. Засодимского к Л. Н. Толстому, 22 января 1891 г., Государственный музей Л. Н. Толстого, Москва.

[2] «Л. Н. Толстой о литературе», М. 1955, стр. 253.

золоченые звезды, но ярче их блистали бы детские глазенки...» Нет, в конце своей ненужной, напрасно прожитой жизни герой уже не мог предаваться столь чистым мечтам о простом, но оказавшемся недоступном ему человеческом счастье; ему остается лишь поздний проблеск сознания, что все могло быть иначе. По совету Толстого, Засодимский расстается и с этим отрывком рассказа.

Он был небольшим, но строгим и взыскательным к себе художником. «Если бы я не был убежден,— писал Засодимский,— в том, что моя литературная деятельность приносит пользу, то я никогда и не написал бы того, что мною написано» [1].

Разделяя основные теоретические воззрения народников, Засодимский был далек от их революционной деятельности. Однако всем своим творчеством он призывал искать счастье «в борьбе за общечеловеческое дело». Правящие круги царской России преследовали его. В 1891 году писатель был выслан из Петербурга за речь на похоронах видного революционного демократа Н. В. Шелгунова; произведения Засодимского постоянно вызывали цензурные осложнения. Но даже в самую трудную пору общественной реакции он оставался верен тем демократическим идеям, служению которым посвятил всю свою жизнь. Его последней книгой был исторический труд о «деспотизме», его «принципах» и борьбе с ним, вышедший незадолго до смерти автора.

Умер П. В. Засодимский 4 мая 1912 года. «Я родился на русской земле, жил и страдал с русским народом, с ним и останусь до конца» [2],— пророчески говорил Засодимский. Пронизанное пафосом горячего патриотического чувства, творчество писателя-демократа в своих лучших страницах заслуживает внимание советского читателя.

В. Путинцев

---

[1] П. В. Засодимский, Собр. соч., т. I, стр. I.
[2] «Голос минувшего», 1913. кн. 5, стр. 151.

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

ПЕРЕД ПОТУХШИМ КАМЕЛЬКОМ



НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Рассказ

I

Деревня Васютино стоит на большой, почтовой дороге. Эта дорога называется Архангельскою, или «Архангельским трактом», потому что по ней можно проехать в Архангельскую губернию. Она и теперь еще — проезжая: в наших сторонах чугунки нет, да и пароходы еще не дымят по нашим лесным рекам,— по ним лишь в половодье весною плывут плоты бревен и дров. Наша «большая доро-

га», перед приездом в наши дремучие края императора Александра I, была расширена и украшена: по обеим сторонам ее насыпали возвышения и усадили их в два ряда березами,— так что вся дорога на тысячеверстном расстоянии сделалась похожа на бульвар. Дорога то идет прямо как стрела, то поворачивает в сторону и вьется зигзагами, тянется по полям, по лугам, пролегает по лесным трущобам и болотинам, перебирается через горы, проходит по городам, по деревням и селам, мимо сельских церквей и низеньких старых часовен, мимо глухих починков и лесных одиноких истопок... Ныне, местами, деревьев уже не стало: одни из них погибли от старости, другие пали жертвой свирепых бурь — были сломлены ветром или разбиты молнией; от иных остались одни пни, а местами даже и не знать, где были деревья.

В давние годы много дум возбуждала в моей детской голове эта «большая дорога»... Круглый год много всякого народа проходило и проезжало по ней.

Сгорбившись, брели по ней богомольцы с кошелками на спине; тащились нищие и убогие, божии страннички с темными загорелыми лицами и с длинными посохами в исхудалых, костлявых руках; плелись всякие калеки и юродивые. Иногда под руку с провожатым проходил какой-нибудь слепой с полузакрытыми или странно вытаращенными глазами. И в ту пору как вожатый бесцельно, рассеянно, со скучающей миной посматривал по сторонам, слепец своими бесцветными, тусклыми очами, казалось, напряженно заглядывал в туманную даль, куда медленно, шаг за шагом и подвигался со своим товарищем. То проходил безрукий, жалобно выкрикивая по деревням и под окнами постоялых дворов: «Подайте, Христа ради, православные, безрукому-немощному!..» Однажды проходил немой, мыча страшным, нечеловеческим голосом и выразительно протягивая руку ко всякому встречному. Проползал безногий, усердно работая локтями и коленами, весь обливаясь потом и пресмыкаясь в пыли. И весь этот люд, проходивший мимо меня по «большой дороге», странный и жалкий люд, едва прикрытый грязными, рваными лохмотьями, с босыми, до крови наколотыми ногами,— не однажды заставлял меня в детстве горько плакать. Мне было жаль этих несчастных странников, и я желал бы дать им приют...

Иногда проходили по дороге кучки солдат, возвращавшихся по домам; порою проезжали новобранцы,— и в то время, как провожавшие их бабы хныкали и утирали покрасневшие от слез глаза, молодые рекруты, буйно заломив шапки набекрень, с напускным весельем горланили песни — громко и несвязно. Иногда проходили арестанты — худые, бритые, уныло позвякивая цепями, а за ними штыки ярко поблескивали на ружьях конвойных, шедших мерною поступью «Несчастненьким» на Васютине всякий подавал что мог.

Нередко тянулись по дороге длинные обозы, поскрипывая колесами,— и тогда в воздухе сильно припахивало дегтем. Иногда проходил цыганский табор, пробираясь на кочевья .. На больших телегах везли сложенные белые палатки, короба с каким-то тряпьем, и из них выглядывали темноволосые, курчавые головы ребятишек; по сторонам шли или ехали верхом цыгане; шли смуглолицые женщины с красными рваными шалями на смуглых плечах,— сухие черные волосы прядями выбивались из-под небрежно повязанных платков, и острые, проницательные глаза светились ярко, как угольки, из-под черных нависших бровей и зорко взглядывали по сторонам За телегами следом шли поджарые собаки, уныло поджав хвост и низко понурив голову Об этих кочевниках у нас шла дурная слава. Говорили, что цыгане мошенничают, обменивая хороших лошадей на своих жалких кляч: для этого они будто бы предварительно подбодряют их нещадными ударами кнута,— так что самое смиренное животное, разбитое на все четыре ноги, вдруг делается зверь зверем, и ловкий цыган выделывает на нем перед покупателем такие отчаянные курбеты, что все только ахают от удивления Про цыганок говорили, что они, под предлогом ворожбы и гаданий, втираются в дома к добрым людям и крадут кур, яйца, холст, одежду и вообще всякий домашний скарб, плохо лежащий. Даже о цыганских собаках рассказывали, что они приучены давить овец и телят...

Каждую неделю два раза, взад и вперед по дороге, проносилась «почта» на тройке добрых коней, поднимая за собой облака серой пыли; колокольчик звенел, заливался под дугой, бубенчики громко звякали и шуршали на шее пристяжных; ямщик с блестящей бляхой на шапке лихо покрикивал и крутил арапником, а на телеге, на

тюках, покрытых кожей и перевязанных веревками, сидел, примостившись боком, почтальон — усталый, измученный, полусонный,— и при каждом толчке его форменная фуражка, казалось, готова была слететь с его головы, качавшейся из стороны в сторону, а старый, заржавленный пистолет чуть не выскакивал у него из-за пояса... Иногда проезжали бары, чиновники, купцы. В год или в два года раз в карете шестерней, цугом, провозили губернатора и архиерея. При этом ямщикам бывало немало хлопот: крестьянские лошади, не привыкшие к такой парадной езде, поминутно сбивались, путались в постромках; ямщик кричал и трещал своим длинным арапником, а паренек, скакавший форейтором, чуть не ревел ревмя... В прежние годы придорожным бульваром иногда проводили медведя, и Мишка тяжело переваливался, идя на цепи за своим повожатаем. Как-то уже давно, лет тридцать тому назад, по «большой дороге» однажды провели даже одногорбого верблюда, и это животное,— невиданное и неслыханное в нашей стороне,— произвело у нас на Васютине страшный переполох и повергло в ужас одну выжившую из ума старуху, принявшую его, кажется, за апокалипсического зверя. Толпа народа шла вплоть до постоялого двора, где верблюд останавливался на ночевку...

На протяжении версты от деревни дорога извивалась широкой пыльной лентой, осененной по сторонам зеленью кудрявых берез, затем круто поворачивала на запад, а там, еще далее, пролегала через кустарник и наконец уходила в лес.

В детстве для меня в «большой дороге» заключалась особенная прелесть, полная таинственности и очарований. Туманная даль, в которой пропадала дорога, какою-то невидимою силой привлекала меня, неотступно манила, звала к себе... Летним вечером, бывало, я любил сиживать при дороге, прислонившись спиной к белоствольной березоньке, и смотреть на эту пыльную дорогу, по которой проезжало и проходило куда-то столько народа. И карета, тихо покачивавшаяся на своих рессорах, и лихая почтовая тройка, и арестанты в серых халатах, и странники, и убогие — все направлялись по этой дороге и скрывались в синевато-серой дали. Куда, зачем шли и ехали все эти люди? Куда они спешили? Кто их ожидал *там?* И я невольно засматривался в ту сторону, куда

уходила дорога и где солнце по вечерам западало за лесистый край земли, надолго оставляя после себя на небе яркий отсвет. И подолгу задумчиво смотрел я в эту сияющую даль, и смутные думы, смутные образы проносились в моей детской голове... Мне хотелось самому пойти по этой дороге, усаженной березами, пойти далеко-далеко вместе со всем людом, проходившим по ней. Мне хотелось дойти до конца ее и посмотреть, что там есть? Какие люди там живут и как живут?..

Дорога ведь уходила туда, куда заходило и солнце; дорога скрывалась в золотисто-розовой дали... И мне невольно думалось, что там, куда она уходит, должно быть очень хорошо, светло и радостно. Когда у нас на Васютине уже почти наступала ночь, *там* все еще горела заря, и долго-долго светилась она *там* после того, как над нашими полями и болотами спускались полупрозрачные, синеватые тени летней ночи. Когда яркая полоса на западе потухала, вместо нее над темным лесом еще долго мерцал нежный, розовый свет. Зубчатые вершины еловых лесов, подернутых синеватою тенью, резко обрисовывались на ясном небе. В вышине проступали звезды, тихо мерцавшие бледным, серебристым светом. От свесившихся надо мной зеленых ветвей веяло вечернею прохладой... Болото, лежавшее прямо против меня по ту сторону дороги, поросшее ивой, низким вереском и можжевелом, утопало в ночном сумраке, а на более низких местах и вдоль речки, извивавшейся по болоту между кустами ив и ольхи, полосами стлался белесоватый туман.

Давно уже прогнали домой деревенское стадо; треск бича уже замолк... А я все еще сидел под березой и, не то засыпая, не то бодрствуя, смотрел на пыльную дорогу, серою лентой извивавшуюся передо мной и пропадавшую в сумраке наступившей летней ночи. Как будто сквозь сон, слышал я доносившийся издали глухой лай деревенских собак, видел тройку «обратных» почтовых лошадей, шагом возвращавшихся домой, видел ямщика, развалившегося в телеге на охапке зеленого сена и напевавшего песенку. Я слышал ленивое позвякивание колокольчика, шуршанье бубенчиков,— и до меня доносились все одни и те же унылые слова:

Сторона ль моя, сторонушка,
Сторона ль моя родимая...

II

Середи Васютина есть небольшая площадка, а на ней стоит небольшая часовня. Крест и купол часовни покрыты белою, блестящею жестью, а кровля ее, стены и деревянная решетка вокруг — ярко расписаны зеленою, синею и красною краской. У дверей сбоку прибита зеленая кружка для сбора пожертвований. Эта ярко расписанная часовенка невольно бросается в глаза и цветистым пятном резко отделяется на сером фоне окружающих ее крестьянских изб. В часовне стоят три потемневшие образа, и перед ними висит большая медная лампада на заржавленной железной цепочке. В часовне постоянно — сумерки. Только два раза в год убогая внутренность ее ярко освещается лампадой и десятками восковых свечей; накануне Ильина дня, девятнадцатого июля, в ней служит всенощную приходский священник, и в самый Ильин день служится молебен. В Ильин день Васютино гуляет... Еще за неделю до праздника начинают сборы, варят пиво, закупают водку, моют и чистят избы. Три дня гуляет Васютино... Многие из ныне живущих васютинцев уже забыли, а иные и вовсе не знают, по какому случаю выстроена их часовня и почему так торжественно «справляют» они Ильин день...

Лет пятьдесят тому назад страшная гроза разразилась над Васютиным в Ильин день. Такой бури не запомнили самые древние старожилы. Среди белого дня стало темно, как ночью: вихрь вырывал деревья с корнем, сносил кровли, разрушал сараи и риги; градом выбило дотла не только хлеб, но даже траву на лугах; вода в реке замутилась и под напорами вихря плескалась далеко на берег. Молнии бороздили небо, и испуганным людям казалось, что небо, все полыхавшее огнем, раскрывалось над ними; какой-то зловещий, багровый свет обдавал деревню, поля, луга и леса кругом нее. Несколько человек было убито молнией, многие были оглушены... Люди метались, как угорелые, туда и сюда; то заберутся в избу, спасаясь от града, то из опасенья быть раздавленными в домах бегут на улицу. Думали, наступил конец свету... Вот после этого-то погрома васютинцы и решили выстроить часовню, поставить в ней образ Ильи Пророка и в

молитве проводить двадцатое июля. Страшный погром понемногу забывался, и Ильин день мало-помалу превратился в обыкновенный пивной праздник, и едва ли найдутся теперь двое-трое из васютинцев, которые вспомнили бы в этот день об ужасах, пережитых их отцами полвека тому назад.

На площадке перед часовней, в праздничные дни, любит собираться народ; старики садятся на ступени часовни, а ребятишки возятся середи улицы. Площадка служила сборным местом для васютинцев еще более потому, что тут же, наискось против часовни, находились почтовая станция и при ней контора для приема и выдачи писем.

Старый, низенький, посеревший дом очень неказист на вид, и только стоящий у крыльца полосатый верстовой столб, слегка наклонившийся, указывает на то, что это — не простая крестьянская изба, а «почтовая васютинская станция». Такая надпись значится черными буквами на белой вывеске над входом, но зимний снег и осенние дожди смыли наполовину буквы, и теперь их можно скорее угадывать, нежели читать... Зеленовато-желтым мохом опушаются края ветхой станционной крыши. Некоторые стекла в окнах расцвечаются всеми радужными оттенками. Крыльцо осело, опустилось, и колонны, поддерживающие крылечный навес, сильно покосились: не нужно было Голиафа для того, чтобы повалить их и разрушить все станционное крыльцо. От помоста, выложенного некогда перед станционным домом, уцелели лишь воспоминания да несколько полусгнивших жердей. У крыльца же, по другую его сторону, стоит фонарный столб, выкрашенный в зеленую краску,— нововведение позднейшего времени. Тут же рядом со станцией находится большой навес; под ним стоят почтовые тарантасы оглоблями вверх, сани всяких сортов, валяются дуги и кое-какая сбруя, стоят лагунки с дегтем и там и сям разбросаны охапки сена и соломы. По ночам куры спят на тарантасах, вместо нашестей; сюда же порой заходят овцы и телята попользоваться сеном или спасаясь от непогоды. Близ навеса — колодезь и при нем колода для пойла лошадей.

Васютинцы любят по вечерам усаживаться у станционного крыльца на лавочку и гуторить о своих деревен-

ских делах. Здесь же от прибывающих ямщиков узнаются всякие новости и затем разносятся по околотку.

С детства знаком я с этим станционным домиком,— и словно теперь вижу его перед собой. Узкий коридор делил его на две части: дверь направо — ничем не обитая — вела в избу, в помещение смотрителя; другая дверь налево — обитая войлоком и клеенкой — вела собственно на «станцию», в комнаты для проезжающих. От маленькой передней была отгорожена часть под контору, или «конторку», как называли ее ямщики.

Эта каморка глядела сумрачно, потому что ее единственное окно выходило под навес. У окна стоял стол, покрытый черною клеенкой и уставленный письменными принадлежностями самого скромного вида. Линейка, закапанная чернилами, три гусиные пера, перочинный ножик и огрызок карандаша лежали на суконке перед чернильницей и песочницей. На столе всегда в величайшем порядке содержались книги для записи отпускаемых лошадей, а справа, под клеенкой, внимательный наблюдатель мог легко ощупать рукой знаменитую «жалобную книгу». На страницы этой ужасной книги проезжающие обыкновенно изливали свою ярость и негодование на станционные беспорядки... На стене, над письменным столом, висел засиженный мухами «Вечный календарь», а неподалеку от него помещались счеты. Перед столом стоял стул с плетеным сиденьем, довольно порванным и опустившимся. За стулом находился большой темный сундук, окованный железом. На дне этого сундука хранилось казенное станционное имущество: несколько десятей писчей бумаги, станционные книги и тетрадь для всяких записей, пачка штемпельных конвертов различных форматов, стклянки с чернилами, палочки сургуча, печать, кусочки воска, веревки, клубок серых ниток, обрывки холста и т. д. Тут же хранились и письма, еще не взятые из конторы. Все это лежало в порядке, аккуратно разложенное по своим местам. Сундук запирался большим висячим замком... В «конторке» всегда припахивало сургучом, кожаными переплетами книг, серою бумагою; отдавало сыростью...

Для проезжающих предназначались две комнаты: одна — прямо из передней — довольно большая, в два окна, а другая, поменьше, в одно окно и с длинным жест-

ким диваном, обитым черною клеенкой. Обе эти комнаты содержались в чистоте и опрятности. Посередине большой комнаты проходил половик — нечто вроде самодельного ковра. У стены стоял диван, а перед ним круглый стол, накрытый зеленою клеенкой. Над диваном висел портрет царя. В простенке между двух окон помещалось зеркало,— «зеркало с сюрпризом», как называли его проезжающие за то, что лица их в этом зеркале казались крупнее и полнее, чем были в действительности. Под зеркалом стоял другой стол, также накрытый клеенкой, а на нем обыкновенно помещались графин с водой, стакан, и на маленьком подносе лежали щипцы. В другом простенке красовалась старинная гравюра, изображавшая вид Кирилло-Белозерского монастыря. Задняя стена была увешана почтовыми расписаниями, извлечениями из почтовых правил и различными циркулярами, подписанными «директором почтового департамента». Окна в этой комнате были всегда чисты, а крашеный пол блестел и лоснился.

Проезжающих встречал здесь серый кот с чрезвычайно умной, серьезной и задумчивой физиономией. Он или терся, ласкаясь, у ног проезжающих, самым доверчивым и дружелюбным образом выгибая спину и поднимая хвост, или же сидел, прикорнув на подоконнике и поджав под себя все четыре лапы, и тихо мурлыкал свою бесконечную песенку. Путники, рассерженные чем-нибудь в дороге, в ответ на ласки, жестоко пинали бедного кота, потому что были сильнее его и чувствовали себя вправе поступать жестоко, а если бывали в духе,— кормили серку кусочками белого хлеба и гладили его по мягкой, пушистой спине.

Осенью, когда бывал особенно большой разгон лошадей, проезжающим нередко приходилось подолгу сидеть на станции. Скучая, смотрели они в окна на грязную деревенскую улицу и на проходивших баб и мужиков, месивших ногами жидкую грязь. И ходили они от окна к окну, проклиная дороги, проклиная станцию и смотрителя, не дававшего им лошадей; громко позевывая, читали циркуляры, почтовые объявления и с горя приказывали подавать самовар. Весело и бойко кипящий самовар разгонял немного их хандру, и тусклые лица их мало-помалу прояснялись, а злая, ироническая улыбка смягчалась,—

может быть, при воспоминании о другом чайном столе, более привлекательном и более уютном, чем этот круглый станционный стол со своей зеленой клеенкой... Слышно было, как ямщики шумели и бранились, смазывая тарантасы; наконец начинал позванивать колокольчик,— лошадей подавали к крыльцу, и путники, забрав свои пожитки и не взглянув на комнату, давшую им временный приют от непогоды, спешили садиться в тарантас и катили далее. За ними являлись другие, третьи... Станционный домик всех принимал гостеприимно и радушно, несмотря на свою казенную обстановку. А они, проезжие — эти неблагодарные люди,— только бранились и ворчали...

III

Был у нас почтовым смотрителем Иван Петрович Прокофьев, человек смиренный, тихий, воды не замутивший ни разу на своем веку. Его звали у нас на деревне просто «Петровичем» или «чиновником»,— ради его форменного сюртука с медными пуговицами. Это был, поистине сказать, несчастный человек. У него было такое злополучное лицо, что из ста человек, посмотревших на него, наверное девяносто с полною уверенностью сказали бы про него, что он — пьяница. У проезжающих даже составилось о васютинском смотрителе такое мнение, что он «пьет без просыпа», что он «вечно пьян как стелька». А между тем в действительности Прокофьев пил очень умеренно, да и то лишь в праздники, в почтенной компании.

Проезжающих вводило в заблуждение его лицо — бледное, как бы испитое, его тусклые, покрасневшие глаза, его красно-сизый нос, напоминавший собой грушу, его волосы какого-то неопределенного, желтовато-рыжего цвета, лезшие ему прямо на лоб и на глаза, его торчащие усы и часто небритый подбородок, покрытый словно щетиной. Вообще все его невзрачное лицо казалось каким-то выцветшим, полинявшим,— и человек, незнакомый с Петровичем, при взгляде на него невольно искал на его лице синяков, царапин, фонарей и тому подобных примет, обыкновенно украшающих собой лица пьяниц. Его старое, поношенное платье производило на зрителя такое же

невыгодное впечатление, как и его лицо. Форменный сюртук, вытертый донельзя, позеленевший от старости, побелевший по швам и лишенный двух или трех медных пуговиц, потертые, короткие штаны, не доходившие до пят, и скрипучие, неуклюжие сапоги не выставляли в лучшем свете фигуры Петровича, не придавали ей привлекательности.

Когда же проезжающие являлись ночью и Петрович бывал застигнут врасплох, тогда он являлся в еще более непрезентабельном виде. Непричесанные волосы будоражились на его голове и лезли во все стороны, словно их кто-нибудь только что взъерошил; форменный сюртук был в пыли, в пуху, а заспанные глаза придавали Петровичу еще более вид пьяного, непроспавшегося человека. Когда он являлся к проезжающим, еще пошатываясь со сна, торопливо застегивая дрожащими руками свой «вицмундир» и невольно щуря глаза при переходе из потемков к свету, проезжающие брезгливо отворачивались от него, ворча вполголоса: «Пьян!..» А у Петровича, может статься, более месяца как во рту не бывало и капли вина. Уж правда, что «наружность иногда обманчива бывает»... Более трезвого человека трудно было найти в почтовом ведомстве Российской империи, а между тем никогда еще, кажется, ни один завзятый пьяница смотритель не внушал проезжающим такого отвращения, как наш бедный Петрович. Он был без вины виноват — только тем, что природа сыграла с ним злую шутку, наделив его, трезвого человека, физиономией горького пьяницы.

Он был сын почтальона и сам начал свою карьеру почтальоном, трясясь на почтовой телеге от города до города; из почтальонов он наконец дослужился до смотрительства. В описываемую пору ему было около пятидесяти лет, и из них двадцать восемь лет он провел на службе. Уже пятнадцатый год он служил у нас смотрителем и три года тому назад получил первый чин — коллежского регистратора...

Уже будучи смотрителем, он женился на дочери одного сельского священника, имевшего шестнадцать человек детей обоего пола. Петрович в ту пору был по-своему счастлив, но счастье его продолжалось недолго...

Через десять лет тихой и скромной супружеской жизни жена его вдруг заболела страшным душевным неду-

гом, оставив на его попечение трех сыновей и дочь — малютку по второму году. Несчастная женщина, уже будучи больною, два года еще жила в семье. Не мог Петрович расстаться с нею, все тешил себя надеждою, что авось она поправится и они по-прежнему заживут хорошо. Много горя принял от нее Петрович в эти два года... Она была женщина слабого здоровья, очень религиозная, добрая, чувствительная, и теперь в сумасшествии постоянно всем говорила, что она — страшная грешница и муж ее также великий грешник.

— Мы с тобой живем не по правде! — говорила она мужу, строго смотря на него в упор своими безумными очами.— По какому праву мы этак наряжаемся с тобой? Как мы можем наряжать так своих ребят, когда у иных совсем нечем прикрыться?.. Ой, Петрович! Уж доживем мы с тобой до великой беды! Вот попомни мое слово! Погоди!.. Пропадем мы за свое окаянство, как черви придорожные!

Петрович — бедняга — только ежился и ужасно смущался, слушая такие речи. Он не на шутку трусил, когда жена его принималась за свои «страшные слова», и просто не знал куда ему деваться. Но он чувствовал себя еще хуже, ему становилось еще более жутко и «не по себе», когда жена начинала плакать и тосковать. В такие минуты он совершенно терялся и сам готов был плакать. Губы его дрожали, и он начинал усиленно крутить нижнюю пуговицу своего несчастного вицмундира.

— Петрович! — тихо говорила она, грустно смотря на него сквозь слезы.— Голубчик мой... Покаемся! Покаемся, Христа ради... Хоть ради ребятишек... Смотри, ведь и на них горя хватит! Много горя на свете, не изжить его... Успокой ты меня! Покаемся, Петрович! Простимся,— раздадим имущество бедным...

Она говорила тихо, но страстно, с жаром искреннего увлечения.

— Что ты, Катя, господь с тобой! — чуть сам не плача, усовещевал ее Петрович.— Какое же у нас с тобой имущество! И разве сами мы не бедные?

— Нет, Петрович... не бедные!— упорно настаивала она, горько вздыхая и качая головой.— Вон у нас есть и самовар, и стулья, и всякое платье. А у бедных ничего нет... Они живут в холоде, в голоде...

И несчастная страдалица мучилась невыразимо.

— Чужую долю мы заедаем! — постоянно повторяла она шепотом, уныло сидя у окошка и глядя невесть куда — не то на соломенные крыши деревенских изб, не то на облака, низко ходившие над ними.

Бледная как смерть, худая, изнуренная, с белокурыми, распущенными волосами, по целым дням не бравшая ни крошки в рот, сидела она на своем стуле у окна, низко понурив свою нечесаную голову, беспомощно сложив руки на коленях и вся как будто опустившись. А бледные губы ее между тем все что-то шептали... Так изнывала она изо дня в день — целые месяцы и годы,— не присматривая за детьми, не заботясь о муже, вообще не обращая ни на что внимания и вся углубившись в свой призрачный мир — в свои безумные грезы...

Петрович страдал вместе с нею, глядя на ее душевные муки и не зная, как помочь ей, чем облегчить ее страдания. При этом он и боялся за нее, опасаясь каких-нибудь безумных выходок с ее стороны, и старался по возможности не спускать ее с глаз. Но не всегда же он мог уследить за ней. Хотя у почтового смотрителя не бог весть какие дела и обязанности, а все-таки он не сидит сложа руки. К тому же Петрович должен был, по болезни жены, сам вести свое немудрое хозяйство и приглядывать за детьми. Устанет человек за день, измучится, заснет... А жену иногда и ночью сон не брал,— полежит час-другой с открытыми глазами, вскочит и заходит по комнате, как тень, или сядет у окна, понурится, съежится вся и, перекинув ногу на ногу, быстро, усиленно качает ногой как бы в такт мыслям, толпившимся в ее бедной, расстроенной голове.

Тайком от мужа, бывало, зимой, в сильную стужу, убегала она в церковь к обедне, версты за три, и там, ставши в притворе вместе с нищими и убогими, по целым часам простаивала на коленях, припав пылающим лбом к холодным церковным плитам и молясь горячо, от души. В эти минуты она, по-видимому в каком-то исступлении, забывала все окружающее, ничего не видя и не слыша... Крупные слезы катились по ее изможденному лицу, глаза устремлялись вверх, и смутная, неуловимая улыбка, как солнечный луч сквозь туман, мелькала на ее побледневших губах.

Однажды, когда муж не доглядел, больная, совсем раздевшись, вышла на улицу и, с чисто детской наивностью кланяясь на все четыре стороны, громко объявила, что она — по заповеди Христа — навсегда отказывается от всякого имущества, отрекается от мужа, от семьи...

— Простите меня, православные! Грешная я — недостойная...— обливаясь слезами, говорила она людям, случившимся в это время на улице.

Кумушки-соседки насилу утащили ее в дом и насилу кое-как одели ее.

В другой раз какая-то добрая душа подарила детям ситцу на рубахи. Она тайком подобралась к этому ситцу и весь изрезала его ножницами на мелкие куски... Каким-то проезжающим она принялась было читать проповедь о грехах,— и вышел бы скандал, если бы проезжающим не объяснили, что она — женщина больная... Порой находили на нее припадки бешенства; тогда гнала она от себя мужа, детей, рвала и метала; кроткая, смиренная женщина вдруг превращалась в какое-то бешеное, разъяренное чудовище. Но проходили эти тяжелые минуты, больная успокаивалась, забивалась куда-нибудь в уголок и молчала по целым дням. Припадки стали повторяться все чаще и чаще. Больная стала служить предметом насмешек для деревенских зубоскалов. Петрович стал побаиваться за детей: «Как бы сумасшедшая не сделала с ним чего-нибудь!» Нанять же прислугу для присмотра за больною было не на что...

Скрепя сердце Петрович должен был отвести больную в город, в дом для умалишенных. Возвратившись домой в свою пустую избу, он сел на лавку и, свесив голову на руки, горько заплакал... Десять счастливых лет прошли как сон; после них он два года маялся, глядя на больную жену,— и вот теперь остался окончательно один-одинешенек со своими ребятами. Взял он на руки малютку девочку и, посмотрев на детей, промолвил вполголоса:

— Нет у вас мамы... Что теперь буду я с вами делать?..

Мальчики видели, что отец расстроен, плачет, и молча стояли подле него. Через минуту, однако, младший

из мальчуганов обратился к нему как ни в чем не бывало...

— Дай мне бумажки — змей сделать!— умильно проговорил он.

Петрович только рукой махнул...

IV

С семьей на плечах Петрович чувствовал себя теперь совсем несчастным человеком. Но он был живуч, не унывал, стал работать за троих. Какая-то старуха бобылка за полтинник в месяц взялась варить ему похлебку и печь хлеб. Петрович был беден. Он получал жалованья двенадцать рублей двадцать пять копеек в месяц да готовую квартиру и дрова. Дрова, впрочем, в нашей лесной стороне не стоили почти ничего, а квартирой ему служила простая крестьянская изба с закоптелыми стенами, с черной русской печью, с полатями, с лавками вокруг стен и с тараканами во всех щелях. При жене у окон висели красные кумачные занавески, а на подоконниках стояли цветы в горшках и в крынках, за неимением горшков. Во время же болезни жены цветы подолгу не поливались; они засохли и погибли,— и только каким-то чудом из них уцелели герань и кустик резеды. Занавески уже давно пошли на рубашки детям... В избе было не всегда опрятно. У Петровича рук не хватало. Он заботился о том, чтобы содержать в чистоте комнаты для проезжающих. «А сам-то уж как-нибудь...»

На двенадцать рублей приходилось жить с семьей — кормиться и одеваться. Днем справляя свои смотрительские обязанности, Петрович урывками, в досужие минуты, сам обшивал ребят, сам бегал на речку стирать белье, а вечером или ночью, как случится, мыл полы у себя в конторе и в комнатах, вытирал окна, сметал пыль с мебели, приводил в порядок свои станционные книги, писал «отношения» по начальству, ответы на различные запросы и тому подобное. И поздно за полночь, когда ребятишки уже спали спокойным сном — кто на печи, кто на полатях, Петрович за столом у мигающего ночника корпел за работой. То он что-нибудь строчил «по служ-

бе», то неумелой рукой починивал свой вицмундир или рубаху.

От постоянной устали, от бессонных ночей, от тревог и беспокойства за детей, от горя — побледнел, осунулся Петрович; глаза его покраснели и затускли, и весь он как будто съежился и полинял. Мы, васютинские жители, знали все это, а проезжающие не могли знать и в душе ругали его «канальей» и «пропоицей». Начальство, сделавшее Петровича смотрителем, знало его за трезвого, аккуратного и исполнительного человека. Но начальство не знало, что этот старый, верный служака, не укравший во всю жизнь куска казенного сургуча, был нищий. Начальство не знало, что почтовый смотритель, сняв свой вицмундир, босой, засучив по локоть рукава рубахи и вооружившись грязной мочалкой, мыл на станции пол. Начальство не знало, что смотритель, облачившись в розовую ситцевую рубаху на выпуск и подпоясав ее мужицким поясом, носил на руках свою малютку дочь, а младшего сына водил за руку к речке, протекавшей за Васютиным, и там, как добрая нянюшка, мыл ребят. Начальство, вероятно, ничего подобного не видало на своем веку, ничего не подозревало и не знало, что «чиновники» занимаются прачешным делом, портняжеством, судомойничеством и прочим.

Смотрители, как уже сказано, получают очень маленькое жалованье. А между тем в среде их часто встречаются люди семейные. На один хлеб в месяц идет половина жалованья. На остальные деньги нужно купить какой-нибудь приварок, нужно одеться, одеть семью; при этом нужно еще считать всякие непредвиденные расходы, как, например, вроде покупки лекарства и тому подобное. О смотрителях не говорят, не пишут... Это жалкие, заброшенные, богом и людьми забытые люди. Почтовый смотритель беднее, в сущности, всякого бедного мужика: у мужика есть земля и — по закону — никто не может ее отнять у него. А наш смотритель? Лишившись места, куда пойдет он, несчастный чиновник, с двенадцатью рублями жалованья в кармане? Чем станет он кормить семью, если бог наградил его таковою? Он может смело рассчитывать только на три аршина кладбищенской земли...

Тяжело, не радостно положение смотрителей вообще; положение же Петровича было поистине трагическое, ужасное положение. Поставьте, читатель, себя хоть на минуту в его положение!.. Петрович должен был прежде всего исполнять свои обязанности и угождать начальству; затем он должен был ладить с содержателями почтовых лошадей — с зажиточными крестьянами, «гонявшими почту» по контракту; в-третьих, должен был угождать «публике», то есть проезжающим.

Он мог бы не наблюдать за тем, чтобы содержатели в точности исполняли условия, заключенные с казною, и за это мог бы надеяться получать от них небольшие подачки, попросту сказать, мог бы брать взятки. Но зато в таком случае он не мог бы угодить проезжающим, должен был бы притеснять их, отказывать в лошадях, божиться, что лошадей нет, в то время как лошади стоят на дворе, или должен был бы отпускать проезжающих на каких-нибудь хромых, увечных клячах, которые, не добежав до следующей станции, ложились бы среди дороги, предоставляя ямщикам бить себя, а путникам — добираться до станции путем пешего хождения. Но Петрович знал, что начальство поставило его для служения «публике», за что и выдавало ему по двенадцати рублей в месяц. Петрович не мог кривить совестью и, несмотря на свою бедноту, не брал взяток с содержателей. Он не смотрел сквозь пальцы на их проделки, постоянно воевал с ними и требовал неуклонного, точного исполнения условий. Содержатели мстили ему как могли — писали по начальству жалобы на него, строчили доносы, словом — кляузничали. Начальство, не брезгавшее приношениями содержателей, хмурилось на Прокофьева, делало ему выговоры, но стереть его с места не могло, потому что он был *прав* и все доносы его недоброжелателей оказывались вздором.

Но и проезжающим — так же как содержателям — Петрович иногда не мог угодить, несмотря на все свое желание. Иным господам положительно невозможно было растолковать, что лошадей свободных действительно нет; что все лошади — «в разгоне». Напрасно Петрович показывал им книги, указывал на число лошадей, содержащихся на станции, на число лошадей, ушедших «с работой» (то есть с проезжающими) или возвратившихся, но еще отдыхавших определенное число часов. Напрасно

распинался Петрович... Самый благодушный путешественник при взгляде на его несчастную физиономию чувствовал уже к нему предубеждение. Люди же раздражительные просто не выносили его. Физиономия Петровича служила для них тем красным лоскутом, которым в Испании во время боя быков приводят животных в бешенство... Петровича не слушали, и даже если бы он заговорил языком ангелов, то и в таком случае едва ли рассерженные проезжающие обратили бы на него внимание. На него кричали, к нему подступали с кулаками, а он невозмутимо стоял, вытянувшись у притолоки в своем форменном сюртучишке, заложив один палец за пуговицу и покорно принимая на свою склоненную голову все неприятности как нечто должное, неминучее.

Уйдя за перегородку в свою «конторку», он явственно слышал, как иной сердитый путешественник, расхаживая по комнате, изволил шипеть на его счет:

— Пьяницы проклятые... Дармоеды!.. Все заодно с ямщиками... Тьфу!

Много без вины терпел Петрович от проезжающих, и от содержателей, и от мелкого начальства. Зато мужики любили его за простоту и уживчивость.

— Петрович у нас — золото! — говорили про него в деревнях.— Никого никогда не притеснит, не обидит... Только его самого не трожь!

Наш Петрович не гордился своим чиновничеством, охотно водил знакомство с крестьянами, и когда ему, бывало, грозила беда неминучая — чуть не голодная смерть, крестьяне являлись на выручку. И Петрович, совершенно растроганный, никогда не отказывался от их скромных даяний. Он даже как будто с каким-то благоговением брал от них мерку ржи или овса, десяток яиц, конец холстины или моток суровых ниток. Петрович очень хорошо знал, что все эти приношения доставались крестьянам дорогой ценой, и он ценил их не по рыночной цене, а так же, как была оценена в евангельской притче лепта вдовицы. Это были не взятки, а добровольные даяния...

— Да я скотина, что ли? разве же я не чувствую!.. Нет! Вот они у меня где...— с жаром говорил он, стуча себя в грудь кулаком.

Он писал крестьянам письма, читал им случайно попадавшиеся в руки разрозненные нумера газет, пояснял

прочитанное, толковал с ними о деревенских делах, и васютинцы охотно заходили к нему на перепутье, несмотря на то что «изба его была не красна углами», и часто по вечерам собирались они на ступенях станционного крыльца.

V

Петрович всю жизнь перевертывался из кулька в рогожку. Вся жизнь его походила на «Тришкин кафтан»... То в одном ощущался недостаток, то в другом оказывалась недохватка. Но Петрович был великий человек, несмотря на то что назывался простым почтовым смотрителем; он был велик потому, что не унывал, потому что у него была прекрасная, мужественная душа.

Кроме того, что он сам делал на станции все что мог, Петрович измышлял еще всевозможные источники для пропитания. Ведь за него никто не думал и не предлагал ему пропитания. И вот он ловил рыбу вершами, удил, ставил в лесу силки на птиц, ходил в лес за ягодами, за грибами... Впрочем, собирание грибов служило для него отдыхом и единственным развлечением в жизни. Избавившись от форменного сюртука, облачившись в рубаху, засучив штаны чуть не до колен, а сапоги оставив из экономии дома, отправлялся Петрович в лес; на одной руке у него висела корзина, а другою он опирался на палку.

— За грибами бог понес? — окликнут, бывало, его из окна.

— За грибами! — весело ответит он и — довольный, сияющий — направляется к лесу.

В лесу Петрович совершенно преображался. Глаза его смотрели веселее обыкновенного, губы улыбались, и наивная детская радость светилась на его лице, разгоревшемся от ходьбы и волнения... Я иногда ходил с ним в лес и удивлялся тому чисто детскому восторгу, который испытывал Петрович под зеленою сенью леса. Надо было видеть, с каким живейшим наслаждением осматривался он по сторонам! Увидав, например, в траве красноголового боровика, он радостно подходил к нему, наклонялся и, полюбовавшись, осторожно брал его и опускал в корзинку. Он на эту пору как бы обращался в ребенка и от

полноты чувств принимался рассуждать вслух и разговаривать с грибами, как будто те могли понимать его.

— Э-э, голубчик! Ты чего прячешься там от меня? Иди-ка, иди сюда! — говорил Петрович, заметив среди мха под валежником какой-нибудь хороший гриб.

— Тебя, брат, не надо... Оставайся, где стоишь! Такие старики, как ты, не годятся в дело,— замечал он, найдя старый гриб, источенный червями.

Иногда мы присаживались отдыхать на кочку или на древесный пень. Тогда Петрович опускал корзину наземь, снимал фуражку и, опершись на свою палку, вел со мною тихие речи... Иногда, под влиянием тихой грусти, он начинал мурлыкать вполголоса знакомую, старую песенку:

Ямщик лихой — он встал с полночи,
Ему взгрустнулося в тиши,
И он запел про ясны очи,
Про очи девицы-души.

Сдвинув фуражку на затылок, он иногда подолгу задумчиво смотрел на вершины деревьев, обступавших нас со всех сторон, смотрел на голубое небо, сквозившее из-за листвы над его головою. Порой глаза его вдруг затуманивались, словно их заволакивало слезами, и губы его слегка дрожали. И Петрович тяжело вздыхал... Может быть, смотря на ясное голубое небо, он вспоминал голубые глаза своей молодой жены, до ее болезни,— глаза, светившие ему в течение нескольких лет, помогавшие бороться с горем и нуждой, делившие с ним и радости и печали...

Так и жил Петрович терпеливо, смиренно, не ожидая в будущем ничего лучшего. Чего же лучшего может ожидать почтовый смотритель? Крестьянин может ожидать хорошего урожая, купец — барышей, адвокат может ждать увеличения числа преступлений, аптекарь — усиления болезней, городской чиновник — наград и повышений; даже ссыльно-каторжные могут ожидать помилования или по крайней мере смягчения своей жестокой участи, а нашему почтовому смотрителю, «двенадцатирублевому чиновнику», неоткуда и нечего ждать. Он забыт. Даже газеты не поднимают о нем вопроса...

Петрович знал, что и далее — еще, быть может, многие годы — до самой смерти он будет терпеть нужду, вы-

носить брань проезжающих и всякие притеснения, будет вечно работать, голодать и недосыпать, станет строчить отчеты, подводить итоги, писать «отношения» и «объяснения», запечатывать конверты, принимать и отсылать письма, встречать и провожать проезжающих,— знал все это и не унывал. Лучше не будет... Ожидал ли он худшего — неизвестно... Но беда нагрянула на него нежданно-негаданно для всех нас.

Пронеслись слухи, что в нашей стороне ожидали проездом нового губернатора, отправившегося ревизовать вверенный его попечениям край. Петрович, разумеется, привел в отличный порядок обе комнаты для проезжающих, вымыл сени и даже крыльцо. Станционные книги также были тщательно пересмотрены. Лошади стояли наготове; ямщикам было строго наказано: по возможности — воздерживаться от водки. Петрович и свою особу привел в надлежащий порядок: подстриг свои взъерошенные волосы, зачинил кое-как форменный старый сюртук, пришил недостававшие пуговицы, самым добросовестным образом вычистил их тертым кирпичом, а сапоги тщательно смазал деревянным маслом и натер их сажей. По его мнению, в таком виде он должен был показаться губернатору настоящим франтом... Вообще за это время ему было много беспокойства и тревог... Но губернатор не ехал. Прошли слухи, что он отдумал и отложил ревизию. Потом, спустя несколько времени, опять заговорили, что «губернатор едет»...

Однажды в конце августа выдался денек теплый и ясный. Петрович отправился в лес за грибами — «освежиться», как он сам говорил,— и воротился уже вечером с полною корзиной и в полном удовольствии. Поужинав и уложив детей спать, он зажег у крыльца фонарь, замкнул дверь в избу на крючок и сам завалился на боковую. Устав за день, он скоро заснул крепким, мертвым сном...

И приснилось ему, что идет он из леса с грибами, вдыхая в себя с наслаждением полною грудью теплый осенний воздух, пропитанный запахом увядающих цветов и трав. Вдруг, к неописанному ужасу его и смущению, навстречу ему — губернатор, в полной форме, в ленте, орденах и в каске с развевающимся султаном. Губернатор большими шагами идет по полю, направляясь прямехонько к нему — к Петровичу,— и синеватого сукна шинель

его широко распахивается по ветру. Особа — внушительная... Лицо — такое величественное, серьезное. Петрович вытягивается перед ним в струнку, не выпуская, впрочем, из рук ни палки, ни корзины с грибами. Он страшно сконфужен тем, что губернатор застал его в таком виде — в рубахе, босиком, с засученными штанами и с дырявой корзиной в руках. «Что-то будет! — с трепетом мысленно восклицает он.— Погибель моя пришла...» В холод и в жар бросает Петровича. От смущения он не знает, куда ему деваться; руки машинально дергают пояс. Он не смеет взглянуть на губернатора. Ноги как свинцовые, точно к земле приросли... Но губернатор, остановившись, обращается к нему с одобряющими словами:

— Прокофьев! — звучным голосом говорит он.— Ты — хороший служака, ты исправно делаешь свое дело... Я знаю! Не стыдись же своей бедноты! Если ты находишь время ходить в лес за грибами, то это весьма похвально. Одобряю... Я сам люблю ходить за грибами. А за твою честность и неподкупность я тебя...

В ту минуту Петровичу послышался сильный стук, как бы доносившийся откуда-то издалека. Он раскрывает глаза и прислушивается. Стучатся к нему в дверь, стучатся неистово,— на дворе слышны побрякиванья колокольчика, говор и шум.

— Господи помилуй! — в испуге вскричал Петрович.— Вот разоспался-то...

Он подбежал к двери и спросил:

— Кто тут? Чего надо?

— Иди скорее!.. Губернатор... серчает...— вполголоса ответил ему ямщик из-за двери.

Петрович бросился одеваться, и — как обыкновенно водится второпях — все у него не клеилось: то не может сапога найти, то никак в рукав не попадет, то пуговица заскочит не в ту петлю, в какую бы следовало. Пока он достал огня, оделся на скорую руку в свой «вицмундир» и явился на крыльцо перед светлые губернаторские очи — прошло несколько минут.

Губернатор — высокий, видный мужчина, с военной осанкой — стоял у коляски, пока ямщики суетились около лошадей. При появлении смотрителя, представившегося ему с низкими поклонами, губернатор нахмурился и строго посмотрел на него.

— Пьян? — лаконично спросил он суровым тоном.

— Никак нет, ваше превосходительство,— дрогнувшим голосом промолвил Петрович.— Извините... только заспался...

— И видно, что не пьян! — сердито заметил губернатор.— По лицу видно... Ну, ну, не рассуждать! — прикрикнул он, заметив со стороны Петровича робкое поползновенье вставить слово в свое оправдание.

Петрович замолчал и только вздохнул исподтишка. Злополучная физиономия и на этот раз удружила ему. «Лучше бы мне с этаким рылом и на свет не родиться!» — с горечью подумал он.

— Смею просить...— немного погодя заговорил Петрович.— Не угодно ли вашему превосходительству пока пожаловать в комнаты... А мы тут сейчас... живой рукой...

Губернатор даже не ответил бедняге и молча повернулся к нему спиной. А Петрович втайне надеялся, что губернатор, увидав чистенькие, светлые станционные комнаты и заметив порядок, царствующий на станции, смилостивится хоть немного над смотрителем и не зачтет ему в большой грех ни его гнусной рожи, ни того обстоятельства, что смотритель не встретил его как подобает, на крыльце. Но тут Петрович должен был признаться, что начальство во сне гораздо добрее, чем в действительности. Во сне губернатор обласкал его, а наяву губернатор даже не «плюнул» в ответ на его любезное приглашение — пожаловать в комнаты. Чтобы не оставаться без дела и показать свое усердие, Петрович схватил фонарь, стоявший на земле, и принялся светить ямщикам, которые смазывали салом колеса губернаторского экипажа.

Августовская ночь была темна,— для Петровича она казалась еще темнее обыкновенного. Черные, мрачные облака низко нависли над соломенными крышами крестьянских изб. Фонари у коляски сверкали во мраке, как два огненные глаза; фонарь горел у станционного крыльца, другой фонарь был в руках Петровича. Но свет фонарей мерцал слабо и еще пуще, казалось, сгущал мрак, заливавший со всех сторон эту несколько фантастическую сцену. Красноватый огонь фонарей беглым, трепетным светом озарял то колесо, то загорелое, темно-бронзовое лицо ямщика, наклонявшегося над осью; немного в сто-

роне мелькал белый круп лошади, помахивавшей хвостом; ямщики, как тени, сновали в полумраке, вполголоса переговариваясь между собой. Вообще вся картина являлась какою-то призрачною, а Петровичу со сна она просто казалась неприятным кошмаром...

Губернатор, запахнувшись в шинель, стоял неподвижно, прислонившись к крылечным перилам, и серые глаза его сердито смотрели из-под околыша форменной фуражки. Эти сердитые глаза и крепко сжатые губы предвещали кому-то беду... Петрович искоса, с страшной тревогой, поглядывал на губернатора и переживал мучительные, адские минуты. «И вздумалось же ему прислониться к гнилым перилам... Вот напасть! Ну как обломятся! Ну как *он* свалится!.. О господи, спаси и помилуй!..» И Петрович при этом рассеянно махал фонарем туда и сюда. Губернатор заметил, что он светит не там, где ямщики более нуждались в фонаре, и вдруг, подойдя к Петровичу, с силой дернул его за рукав.

— Да проснись же! Не сюда светишь... Вот куда надо, вот, вот! — говорил он, дергая Петровича за рукав.

Злополучный рукав, еще недавно так старательно зачиненный Петровичем, не выдержал прикосновений здоровой, могучей губернаторской руки и с треском лопнул по шву,— так что едва-едва на ниточке удержался на плече.

— Получше-то сюртука нет? — крикнул губернатор.

— Нету, ваше превосходительство! — отвечал Петрович, усиленно заморгав глазами.

Жгучие слезы подступили ему к горлу. «Все беды сегодня на меня обрушились!» — думал он, придерживая оторванный рукав и продолжая светить ямщикам. Губернатор между тем проворчав что-то о пьянстве, отошел опять в сторону. Уже садясь в коляску и занеся ногу на подножку, он вынул из кармана записную книжку с маленьким карандашом в золотой оправе и спросил, не обращаясь ни к кому в особенности: «Как называется эта станция?»

— Васютино! — отвечало ему разом несколько голосов.

Губернатор что-то черкнул в записной книжке и сел в коляску, не удостоив никого взглядом. Смотритель глубоко вздохнул, смотря вслед отъезжавшей коляске...

«Столько труда, беспокойств, столько приготовлений — и к чему все это... Все равно — «не угодил»...»

— Проштрафился, Иван Петрович! Экое дело, подумаешь...— соболезнующим тоном говорили ямщики.

Петрович и сам чувствовал, что он «проштрафился»,— и тяжело было у него на душе. Зловещие предчувствия осаждали его. «Быть беде!» — говорил он про себя, ложась снова спать, но сон уже не шел. Петрович напрасно проворочался остаток ночи на своем жестком, одиноком ложе.

VI

Предчувствия сбылись...

Недели через две после проезда губернатора получена была из города роковая «бумага»: смотритель Васютинской станции, коллежский регистратор Иван Петрович Прокофьев переводился в почтальоны на один из самых захолустных трактов...

Было дождливое сентябрьское утро, когда Петрович отправлялся из Васютина на место своего нового служения. По обыкновению, он был не пьян, но более обыкновенного походил на пьяного. Глаза его были красны — то ли от слез, то ли от ветра. Все утро он бегал туда и сюда.

— Вот, брат! — говорил он одному старику, пришедшему провожать его.— Опять дослужился до почтальонского звания, опять будем трястись на тележке! С чего начал, на том, видно, и помереть...

Бледная, грустная улыбка мелькала на его губах.

— Да! Вот она — ваша служба то! — отозвался старик, качнув головой.

Мелкий осенний дождь моросил с заоболочавшего неба, холодный ветер проносился по улице. Желтый лист, сорвавшись с деревьев, кружился в воздухе и падал на мокрую землю. Пестрая часовня на площадке глядела невесело в это ненастное утро. Точно теперь я смотрю на Петровича... Иззябший, с красным лицом, в форменном сюртуке и в каком-то жалком пальтишке, бегал он и суетился около телеги, в которую укладывал весь свой убогий скарб и усаживал ребят. Наконец, попрощавшись со всеми, он уселся в телегу — и лошадь тронулась шагом.

Скоро телега скрылась за белесоватой сеткой дождя, словно потонула в серой мгле, заливавшей «большую дорогу».

С тех пор мы уже не видали Петровича. Но мы нередко вспоминаем о нашем старом смотрителе, бегавшем босиком в лес за грибами и не брезгавшем беседовать с мужиками «по душе»...

— Жаль, жаль Петровича! — говорят васютинцы.— Хороший человек был... простой!

1884 г.



ПЕРЕД ПОТУХШИМ КАМЕЛЬКОМ

Святочный рассказ

(Из воспоминаний одного моего знакомого)

В тот вечер я решительно был не в духе. Да как же!.. Святки на дворе, а я сижу дома один-одинехонек. Насморк, кашель, грудь заложило...

Я отворил дверь из кабинета в залу и с горя принялся шагать по комнатам взад и вперед. В свое время, то есть в десять часов, моя экономка Анна Ефимовна подала мне чай. А я, заложив руки за спину, продолжал шататься

из угла в угол. Одиночество в тот вечер тяготило меня. Старый холостяк в будни не так сильно чувствует свое одиночество, как в свободное праздничное время. Хотелось бы душу отвести, поговорить с кем-нибудь откровенно. А тут, как назло, нездоровье заставило меня сидеть дома. Да и то сказать, с кем же я мог бы поговорить так, как мне хотелось? Ни родных у меня, ни друзей... знакомых, правда, много,— пожалуй, хоть отбавляй... Но эти знакомые, эти партнеры-винтеры,— вовсе не то, что мне надо... Да и тех-то теперь нет под руками... Анна Ефимовна? Женщина очень почтенная, слов нет, точная, аккуратная, и за пятнадцать рублей в месяц превосходно ведет мое хозяйство, и служит мне верой и правдой, то есть — ворует по мелочам, в меру. Но о чем же разговаривать с ней? Выслушивать опять ее рассказ о том, как она жила в Царском Селе у старой генеральши Хреновой и чесала гребнем ее четырнадцать болонок?.. С ней можно пошутить, потолковать насчет обеда — и только... Без всякого аппетита выпил я стакан чаю, налил другой и ушел с ним в кабинет.

— Прикажете убирать? — немного погодя спросила Анна Ефимовна, показываясь в дверях.

— Да, я больше не буду пить! — ответил я ей.— Убирайте! И можете ложиться спать...

Я сам затопил камин, придвинул к нему круглый столик и поставил на него свой стакан с чаем и небольшой граненый графин с ямайским ромом настоящего елисеевского приготовления. Затем я потушил свечи на письменном столе, подкатил к камину кресло и удобно расположился в нем. Методически, не торопясь, я положил на стакан ложечку, опустил в нее кусок сахара и облил ромом. Синевато-бледный огонек забегал над стаканом, а я стал смотреть на него. Скоро огонек стал опадать, заметался, вспыхнул раз-другой и погас. Понемногу прихлебывая, пил я горячий напиток... В квартире было тихо; Анна Ефимовна, очевидно, уже отправилась спать. Допив стакан, я поставил его на стол, закурил сигару и, откинувшись на спинку кресла, стал смотреть в камин. Дрова разгорались, и порой, когда ветер задувал в трубу, из камина слегка припахивало горящей березовой корой. Этот знакомый запах напомнил мне мое далекое детство... Весело проводил я тогда святочные вечера.

В то время я жил в родном Михальцеве с отцом, с матерью, сестренкой Олей и с моей няней-баловницей, Максимовной. Для меня в саду устраивали гору, по вечерам зажигали елку... Мать, по-видимому, очень любила меня. Я помню, как она разглаживала мои русые кудри, как ласково гладила меня по голове и крепко целовала. Ее поцелуи, признаться, мне не особенно нравились; я гораздо охотнее целовался украдкой с горничными девчонками. Отец не раз собирался посечь меня за шалости, но мать всегда за меня заступалась. Я слышал однажды, как она нравоучительным тоном говорила отцу:

— Прошу тебя... оставь, пожалуйста! Ведь таким наказанием можно выбить из ребенка всякий стыд!

Конечно, я был очень благодарен за ее заступничество,— но только она совершенно напрасно сокрушалась за мое чувство стыда. Это чувство уж было утрачено. Я боялся только физической боли, но розги как позор нимало меня не смущали...

Все они — отец, мать, и сестренка, и няня — уже давно ушли туда, откуда никто не приходит... Михальцево куплено каким-то кулаком, и знакомые, милые липы уже давно срублены. Моя детская быль мохом поросла...

Потом мне припомнилось, как гимназистом, в нашем губернском захолустье, я ездил на святках с товарищами маскированным в знакомые дома; танцевали, шалили, кутерьмили. Но в то время как мои товарищи украдкой курили папиросы и самым невинным образом ухаживали за барышнями, я простирал свои виды уже далее простого ухаживанья. Приятели звали меня «удалым». Шумно и бурно прошли студенческие годы. Какие многолюдные, оживленные сборища бывали у нас в ту пору! Иной раз только рубль в кармане, а смеху, веселья, светлых надежд и мечтаний столько, что богачу и за миллион не купить... Впрочем, деньгами я никогда не участвовал в товарищеских кутежах. У меня—такое правило: денег напрасно не тратить... И эта ранняя зеленая юность уже давно отлетела и кажется мне теперь сном. Кудри мои развились, поредели, и на темени у меня блестит изрядная лысина.

Теперь, могу сказать, я — человек вполне обеспеченный. Из Царевококшайского железнодорожного правления я получаю (с наградами) около двух тысяч в год, да кое-что припрятано в банке. Кажется, можно бы жить и

пользоваться благами мира сего. Но прежнего аппетита нет, вкуса нет. Ничто меня особенно не манит, не тянет меня никуда... Вот только разве еще «винт». Оставался у меня из родных один дядя, да и тот помер лет десять тому назад; дочь его вышла замуж за какого-то инженера и уехала с ним в Самарканд или за Самарканд,— бог ее знает. Впрочем, эту двоюродную сестру я почти не помню. Помню только, что все лицо ее, кажется, было в веснушках. Друзья, товарищи студенческих лет, все куда-то запропали, исчезли... Вот уж подлинно — «спрятаться так хорошо мы успели, что после друг друга найти не сумели». Иной дошел «до степеней известных», иной затонул в провинции, кое-кто умер, а две-три горячие головы попали даже в места довольно холодные.

Впрочем, один из моих университетских товарищей, Черемухин, долго шатался ко мне и иногда захаживал даже довольно часто. Он был замечательный образчик человеческой натуры, феномен в своем роде, словом — один из могикан шестидесятых годов. Он ужасно любил пофилософствовать и горячо рассуждал о мире всего мира, о бедных и богатых, о добре и зле — и пес его знает еще о чем. Это был человек крайне тупой и ограниченный. Один мой знакомый очень метко называл его «прямолинейным ослом». Черемухин не мог понимать самых простых вещей, не мог, например, сообразить того, что вчерашние понятия и разговоры сегодня могут уже наскучить, а завтра и окончательно выйти из моды. Этот мудрец, зимой щеголявший в летнем пальто и во все времена года ходивший в отрепанных штанах и мечтавший покрывать чужие крыши, когда его собственная протекала, наконец надоел мне до смерти со своими банальными рассуждениями о добре и зле и вечным приставаньем за деньгами. То дай ему «рублик», то два и каждый раз почти обязательно ставь перед ним водку. Налижется как стелька и лезет с мокрыми губами целоваться. Я сам — человек трезвый и пьяниц не выношу... Иной раз еще расплачется. «Ах, говорит, доля моя, доля! Где ты запропала?» А то вдруг страшным голосом примется распевать: «Свободы гордой вдохновенье, тебя не ведает народ...» Ну, просто устраивал у меня безобразие.

Кончилось тем, что я приказал Анне Ефимовне не принимать эту шушеру. После того он заходил ко мне не-

сколько раз, и я слышал, как он однажды, спускаясь с лестницы, по-видимому чрезвычайно усталый, измученный, бормотал сквозь зубы: «Разжирел! Бедняка товарища не хочет знать... Чиновник!..» И с какой-то горечью он всегда произносил это слово! Что ему сделали чиновники, черт его знает!.. Он, очевидно, сердился и каждый раз так неистово дергал звонок, что заставлял меня вздрагивать, и мои несчастные нервы после того положительно расстраивались. В последний раз, уходя от двери не солоно хлебавши (дверь в моей квартире — постоянно на цепочке), он остановился на площадке, и я слышал, как он крикнул Анне Ефимовне: «Скажите вашему барину, что он — свинья! Он думает, что я к нему только за деньгами хожу или ради водки! Наплевать мне, говорит, на его водку! А целковые я ему возвращу... Мне поговорить с ним хотелось. Я ведь, говорит, прежде любил его, скотину!» Он, очевидно, в то время был чем-то сильно огорчен и взволнован,— но все-таки с его стороны было довольно бестактно таким тоном говорить обо мне с прислугой...

Вот уже лет шесть или семь я не вижу Черемухина. Жив ли он? Пресмыкается ли где-нибудь «в углу» и попрежнему трактует о добре и зле? Или, может быть, уже успокоился и лежит теперь на каком-нибудь из петербургских кладбищ? Подчас был ужасно неприятный человек. Ну да бог с ним! Я зла не помню... А долгу — рублей десять — двенадцать — он мне все-таки не возвратил... В тот вечер одиночество до того тяготило меня, что, право, мне кажется, если бы явился Черемухин, я принял бы его и даже был бы ему рад. Я был бы, пожалуй, не прочь послушать его «завиральных» (либеральных) рассуждений о правде и кривде, о добре и зле и о всякой чепухе. Может быть, он опять попросил бы у меня «рублик» и уж наверное вылакал бы у меня весь ром. Ну, да это — не беда...

Странно! Вокруг меня — целый мир, все человечество, а я между тем чувствую себя отрезанным от мира, совсем одиноким, словно живу на каком-нибудь необитаемом острове. Да! именно так... Я живу на острове Личного Благополучия.

Березовые поленья в камине уже прогорали. Я засмотрелся на груду красных, горячих угольев и смотрел на

них так долго, что глаза мои стали невольно смыкаться, и на меня напала дремота. Но я не спал, честное слово не спал... Я даже порой приоткрывал глаза и видел перед собой, как в тумане, ту же груду красных угольев...

Вдруг мне показалось, что кто-то подошел сзади к моему креслу... не подошел, а, осторожно, на цыпочках, тихо подкрался. Было мгновенье, когда мне даже почудилось, что кто-то наклонился надо мной, чье-то дыхание коснулось моей щеки, и этот кто-то, неслышно подкравшийся ко мне, нежно, чуть дотрогиваясь, провел рукой по моим волосам, как бы желая погладить, приласкать меня... Я не выдержал, раскрыл глаза и, круто повернувшись в кресле, оглянулся назад. Это движение мне стоило больших усилий: мне ужасно не хотелось оглядываться; мне было очень трудно повернуть голову. Так во сне иногда бывает трудно пошевелить рукой или ногой, хотя — по ходу сна — ясно сознаешь, что от этих движений зависит вопрос о жизни и смерти...

Я от природы — не трус.

Но тут, перед камином, в этот несчастный святочный вечер, куда вдруг девалось все мое мужество!.. С усилием оглянувшись назад, я увидал за креслами довольно высокую, белую, призрачную фигуру. И этот призрак не то с укором, не то с сожалением тихо покачивал головой. Так по крайней мере мне почудилось одно мгновенье. В действительности, разумеется, не было никакого призрака. Людям в здравом рассудке — таким, как я, привидения не являются. А дело было очень просто... Из залы, где горела лампа, свет полосой проникал в кабинет через отворенную дверь и падал на белую тюлевую занавесь у окна. Моя комната была погружена в полусумрак, и оттого белая занавесь, ярко озаренная, слишком рельефно выступала в окружающей ее темноте и могла на одно мгновение превосходно разыграть роль призрака... Сердце мое все-таки сильно билось, как будто я в самом деле пережил какую-нибудь действительную опасность; руки мои похолодели, и по спине пробежал какой-то неприятный озноб. Для того чтобы подобной истории не повторялось, чтобы опять не сделаться игрушкой своего собственного воображения, я встал, зажег свечи на письменном столе и, прикрыв их зеленым абажуром, возвратился к камину.

Пошевелив щипцами горячие уголья, я поудобнее уселся в кресле и постарался думать о деловых предметах — о движении по службе, о гадательной возможности выиграть двести тысяч, о дешевизне шерстяной материи, подаренной мною Анне Ефимовне на рождество, и тому подобном. Но я опять загляделся на уголья, и опять эти несносные воспоминания полезли в голову. И откуда они берутся, прах их знает! целые годы лежат где-то там, под спудом, а тут вдруг откуда ни возьмись и начнут выплывать...

И живо-живо, вот точно на картине, представился мне тот святочный вечер, когда я впервые встретился с *нею*... Я был в одном знакомом семействе; танцевали, только что кончили кадриль. Был уже час двенадцатый... Вдруг послышался звонок. Колокольчик чуть дрогнул, но в тишине, последовавшей за танцами, его слабый, дребезжащий звук явственно раздался в комнате. Запоздалый гость...

В залу вошла очень молоденькая барышня, лет семнадцати, высокая, стройная и с чудесными белокурыми волосами, Елена Александровна Неведова!.. Когда меня представили этой прелестной незнакомке, я крепко пожал ей руку, с удовольствием оглядев ее всю с ног до головы. Большие голубые глаза, весело смеючись, прямо и доверчиво посмотрели на меня. Спору нет, всегда скажу: хорошие, красивые глаза. Но я почему-то никогда не мог открыто, пристально смотреть в эти глаза. Слишком уж детски-невинны, слишком как-то ясны и чисты были они... Когда мои глаза встречались с этими голубыми детски-простодушными глазами, мне сдуру казалось, что они каким-то чудом могут увидать все то, что скрывается на дне моей души...

Обыкновенно не перлы и адаманты кроются в тайниках человеческой души. Эти тайники по бо́льшей части представляют собой нечто вроде мусорных ям, и обнаружить перед светом их содержимое — мне по крайней мере — кажется несравненно позорнее и стыднее, чем показать людям свою телесную наготу...

Помню: в ту минуту, как я пожимал *ей* руку, свежим, студеным воздухом и запахом фиалок повеяло на меня от ее платья, от рук, от ее разгоревшихся на морозе щек, от ее роскошных белокурых волос... Я танцевал с ней и потом, разговаривая, довольно долго ходил с ней по за-

ле. Она была ни слишком полна, ни худощава, а именно такова, какою, по моему мнению, должна быть «здоровая» девушка в ее лета... Высокие стройные мягкие женщины были всегда в моем вкусе. С женщиной полной и небольшого роста я еще могу мириться, но женщин субтильных, подобных скелетам, представляющих собой ходячие «кости да тряпки», не выношу. Женщин вроде моей новой знакомки я звал «аппетитными», но аппетитнее Елены Александровны я еще не встречал девушек. Понятно, мне было очень приятно созерцать ее прекрасно развитые, девственные формы, и я с нескрываемым восторгом, на правах кавалера, смотрел на ее щеки, залитые горячим румянцем, румянцем юности и здоровья. Мне в то время было около тридцати лет, и мне показалось, что я произвел на нее также приятное впечатление... Нянька Максимовна недаром звала меня «красавчиком»; зеркало подтверждало справедливость ее приговора.

Двадцать лет прошло после того, а я и теперь помню Неведову такою, как увидал ее в тот святочный вечер. На ней было простенькое серое платье; на груди, на тонкой золотой цепочке, блестел золотой крестик с черной эмалью, усыпанный мелкими бриллиантами, ее единственное ценное украшение (вероятно, купленное по случаю), на голове голубая лента (копеек по тридцать аршин, не дороже). Конечно, я скоро сообразил, что девочка соблазнительно красива, что поближе познакомиться с ней очень лестно, но, ясное дело, в жены для меня эта красавица не годилась. Ценз не вышел... Я в тот же вечер уже все разузнал о ней.

Елена Александровна была сирота, дочь какого-то несчастного сорокарублевого чиновника, жила с матерью да с маленьким братом и давала уроки, бегая с Торговой улицы на Васильевский остров и куда-то к Таврическому саду. Дело знакомое... Благородная бедность... Идиллия в разбитом горшке!.. Иные женщины в дырявых платьишках, я знаю, чрезвычайно любят гордиться своими добродетелями. Все это старые истории, давным-давно заезженные, общие фразы!

Я стал часто встречаться с ней у знакомых и все больше и больше влюблялся. Наконец, как водится, я начал заговаривать с Неведовой о «чувствах», но, как назло, то «чувство», которое меня всего более интересовало, кото-

рое всего пуще мне хотелось расшевелить в ней, не подавало и признака жизни; оно или еще спало, или оставалось в полудремоте. Но по всем моим предположениям, в такой вполне развитой, здоровой девушке «чувство» должно было спать очень легким, чутким полусном, и пробудить его, мне казалось, не особенно трудно.

Елена Александровна слушала, слушала мои рассуждения о «чувствах» и вдруг однажды огорошила меня совершенно неожиданным замечанием.

— Что это, Алексей Петрович, вы все о любви... Как это скучно! Разве же нельзя поговорить о чем-нибудь другом! — с оттенком легкой досады и нетерпения сказала она мне.

«А! так вот оно что...— подумал я.— Надо, значит, с серьезных разговоров с тобой начинать!.. Ладно».

В ту пору очень многие находили нужным толковать и писать о женской равноправности, об общем благе, о гражданской скорби и тому подобном. Я, признаться, никогда особенно не вникал в эти вещи: мне до них не было никакого дела. Что мне Гекуба?.. Ну, а теперь поневоле пришлось почитывать тот или другой журнал и разные «передовые книжки». До того времени я читал только свою газету, правленские отчеты да «Стрекозу»...[1] После такого чтения, натурально, мне показалось слишком тягостно приниматься за книги и журналы.

Зеваешь, бывало... скучища дьявольская! Иная статья написана так, что ее два раза надо было прочитать, чтобы сообразить, о чем идет дело, и потом быть в состоянии рассуждать о ней с Еленой Александровной. А возьмешь, бывало, иную «хорошую» переводную книжку, так еще и того тошнее: точно по болоту бродишь, то на пень наскочишь, то за кочку запнешься, то увязнешь чуть не по уши в какой-нибудь философской трясине... Но зато я добился своего: Елена Александровна стала внимательно слушать меня и гораздо лучше ко мне относиться...

Иногда вечером я провожал ее до дому. С Надеждинской до Коломны — не близкий путь. Иной раз мы ходили пешком, а в дурную погоду я иногда с полдороги брал

---

[1] «Стрекоза» — легковесный юмористический журнал с карикатурами, в котором главным образом осмеивались пьяные купцы, дачный быт, нравы чиновников.

извозчика. Двугривенные и пятиалтынные так и летели. А двугривенных да пятиалтынных в ту пору у меня было еще не особенно много... Но что же прикажете делать! Влюбился!.. Влюбился... и бегал я за своей красавицей, поистине сказать, как мартовский кот. Тоска бывала ужасная... Толкуешь о политике, о разных общественных вопросах, о рабочих союзах, о стачках, о всякой белиберде, а у самого страсть так и клокочет... Иной раз просто доходил до бешенства. Наконец, по некоторым признакам, я стал замечать, что и в юной красавице кровь заиграла... Иногда, сидя со мной наедине, она вдруг вся вспыхивала, голос ее становился нежнее; она чаще взглядывала на меня украдкой, и взгляд ее становился как-то мягче, приветливее.

Однажды, проводив Елену Александровну до дверей ее квартиры, я стал прощаться. Огонь на лестнице был уже погашен; в окна пробивался сумеречный свет лишь настолько, что я мог видеть ее лицо и белое крылышко на ее шляпке. Когда я пожимал ей руку, меня вдруг осенила мысль: «Не пора ли?» И под наитием осенившей меня мысли тут же, впотьмах, на грязной площадке лестницы, я в первый раз сказал ей: «люблю!», обнял ее и горячо, страстно поцеловал... Я, грешным делом, думал, что она оттолкнет меня (она была одного роста со мной и очень сильная) или по крайней мере с жестом, «исполненным негодования», отстранится от меня и скажет: «Оставьте! Уходите, уходите, пожалуйста!» Не тут-то было... Она была слишком чиста душой, слишком невинна и наивна для того, чтобы кокетничать и разыгрывать комедию. Она одной рукой обняла меня за шею и возвратила мне поцелуй.

Ввиду такого благоприятного оборота дел я было уже намеревался повторить объятия, но она в ту минуту дернула за колокольчик и совершенно просто сказала мне:

— Приходите в воскресенье! Я познакомлю вас с мамой...

Любил ли я ее? Без сомнения, любил — по-своему, как только мог. Она мне нравилась, она неотразимо влекла меня к себе... Мне страстно хотелось обладать ею, то есть ее красивым телом... ну, пожалуй, и душой, но лишь настолько, чтобы эта самая душа не препятствовала моему приятному времяпрепровождению.

Я стал часто ходить к Неведовым. Они нанимали маленькую квартиру в пятом этаже,— две комнаты и кухня. Одну комнату занимали мать с дочерью, а в другой помещался, то есть спал и готовил уроки, Вася, братишка Елены Александровны, и эта же последняя комната служила столовой и гостиной. Сама г-жа Неведова была какое-то вечно хворое, жалкое, слезливое созданье. Вдруг, бывало, она начнет плакать о том: что будет с ее Леной, когда она, старуха, помрет? или кончит ли Вася в гимназии?.. «Вот и на прошлой неделе получил двойку из арифметики»... А Вася в то же время ходит по комнате и с ожесточением зубрит: «Panis, piscis, crinis, finis, ignis, lapis, pulvis, cinis, orbis, amnis et canalis, sanguis, unguis, glis, annalis» [1].

Лена сидит тут же с книжкой и читает статью какого-нибудь Добролюбова... А из кухни несет чадом, пахнет кислой капустой, пригорелым салом. Просто иной раз выйдешь от них и чувствуешь, как будто побывал в доме умалишенных...

А страсть моя к Леночке все пуще разгоралась и стала меня вводить в совершенно ненужные затраты. Так, например, я купил однажды Васе какой-то недостававший ему учебннк и заплатил, помнится, около рубля с полтиной; также принашивал Леночке то коробку конфект, то яблоков или винограду. Она, положим, всегда отказывалась и говорила: «Не нужно, не нужно! Зачем вы это делаете?» — и даже очень мило надувала губки. Охотно верю, что она не нуждалась в гостинцах и без них могла любить меня... Но ведь мне оттого было не легче: в магазин обратно яблоки или конфекты не возьмут и денег не возвратят. И я с любезной, снисходительной улыбкой должен был смотреть, как Вася с изумительной быстротой пожирал мои приношения.

Мать даже подговорилась к тому, чтобы я давал уроки ее обжорливому сынку. «Лена так утомляется!..» — говорила она. Стал давать уроки. Что человек влюбленный положительно глупеет — факт, не подлежащий сомнению и подтвержденный историей всех времен и народов.

---

[1] Хлеб, рыба, волосы, конец, огонь, камень, пыль, прах, круг, река и канава, кровь, ноготь, соня (животное), анналы. (Список исключений из правила склонений латинских имен существительных.)

Я был влюблен — значит, и поумнеть не мог... Мальчишка нередко доводил меня до бешенства. А Леночка, бывало, ласково гладит по голове этого дуботолка и говорит:

— Вы уж не сердитесь на него, Алексей Петрович! Ведь он старается... Право!.. Только он у нас немного рассеян, и такой робкий, застенчивый...

А я с яростью смотрю на него да думаю: «Застенчивый!.. Взять бы тебя — разложить да выпороть хорошенько...»

Редко мне удавалось оставаться с Леночкой наедине: то мать, то Вася около нас торчали (впрочем, полагаю, без злого умысла), да и эти редкие случаи свиданий наедине мало доставляли мне удовольствия. Леночка иногда бывала нежна ко мне: то позволяет себя целовать и сама как будто ищет моей ласки, смотрит на меня так любовно... А то проходит неделя-другая, Леночка меня совсем как будто не замечает, носится с Боклем или Льюисом и заводит ученые споры. Ну просто смерть моя!.. Я, конечно, старался соглашаться с ней и норовил лишь обнять ее. А она в своем увлечении отталкивала меня и продолжала с жаром толковать о своем...

Пришла весна. Петербургские дворники сгребали грязь в кучи, а там, где-то за Петербургом, запели соловьи. Наступило лето,— соловьи замолкли, а вместо того в «Аркадии» и «Ливадии» раздались шансонетки, и любители изящного собирались туда по вечерам смотреть на полуобнаженных женщин.

Неведовы в видах экономии еще в начале мая перебрались на дачу по Финляндской железной дороге, неподалеку от Петербурга (Вася остался у знакомых на время экзаменов). Я каждый праздник ездил к Неведовым, а в июле взял отпуск и поселился с ними по соседству. Вася гостил почти все лето у товарища, где-то за Петергофом. Старуха часто прихварывала, а когда ей бывало легче,— я с Леночкой по целым дням пропадал в лесу.

В этом величавом, немного мрачном сосновом лесу мы провели своей медовый месяц... Сосны вековые, могучие,— сосны тенистые, пахучие. Как вы были прекрасны в ту пору! Полна волшебства, полна обаяния была ваша чаща в горячий, полуденный час и задумчива, таинственна в тихий час вечерних сумерек...

Леночка была прелестна в своем летнем костюме и в соломенной шляпе с пучком неувядаемых французских цветов... Бестолковое, лихорадочное, но все-таки очень приятное время. Ясное небо, смолистый запах сосен, мягкий мох под ногами, цветы... восторги, объятия и поцелуи, бесконечные, жгучие, страстные. Нет, в то время положительно сосны были зеленее и пахучее, нежели теперь, цветы ярче, небо синее... Бывали такие дни, когда я, пожалуй, был готов не на шутку сделаться поэтом и декламировать Майкова и Фета.

Блаженные дни... что и говорить! А мой отпуск в свое время все-таки кончился; пришлось перебраться в Петербург. И здесь, сидя в правленье, перебирая косточки счетов и закатывая глаза в потолок по-«влюбленному», я, бывало, как дурак, шептал про себя: «Какие дни! Какие ночи!..» А дома иной раз от нечего делать, лежа в постели, я рисовал карандашом Леночку в профиль, en face и во всевозможных позах... Ребячество...

Мы, конечно, переписывались. И какие письма сочинял я!.. Знаки восклицательные, многоточия, подчеркнутые слова, намеки — иногда довольно нескромные, но для проницательных читателей мало интересные... Моих намеков Леночка, кажется, не понимала, как девушка еще не вполне «образованная», а за подчеркнутые фразы она бранила меня в своих письмах. Ее стыдливость, ее нравственная порядочность разжигали мою похоть, как ветер раздувает огонек; ее скромность и сдержанность подзадоривали меня идти далее в опереточном направлении, и я еще усиленнее изощрялся в придумывании различных шуточек...

В сентябре Неведовы переехали в Петербург, а в октябре старуха отдала богу душу. Один из ее старых знакомых поместил Васю в какую-то частную гимназию. Я нанял квартиру на Фурштадтской, и мы с Леной зажили, как муж с женой.

Леночка, вероятно в силу «благородной гордости» и доверия ко мне, о браке не заговаривала, у меня тоже были свои причины помалкивать и сохранять для себя свободу действий. В общем, все шло прекрасно. Положим, расходы мои увеличились,— но что ж делать! Ведь мне все равно — рано ли, поздно ли — пришлось бы тратиться на содержанку или платить какой-нибудь... Там, гля-

дишь, я мог бы нарваться на дрянь, на какую-нибудь паршивую, нахальную бабу, а тут уж по крайней мере девушка заведомо порядочная, честная, «барышня» из благородного семейства, притом — вполне здоровая...

Около того времени нас (или, вернее сказать — меня) постигло большое горе. Леночка оказалась в *таком* положении и сильно подурнела; лицо ее побледнело, временами покрывалось красными пятнами, стан ее слишком пополнел, и оттого вся ее фигура испортилась. Не понимаю: почему это положение зовут «интересным»!.. Пришлось перешивать платья, переделывать кофточку, пальто. Надо признаться, что Леночка, несмотря на молодые годы, очень терпеливо переносила свою беременность: ни особенной раздражительности, ни прихотей, ни капризов... Только, помню, один раз она неотступно запросила апельсинов, и пришлось разориться на рубль. Слезами и вздохами она тоже не донимала меня. Только однажды ей что-то взгрустнулось... Она тихо заплакала и, подойдя к моему креслу, обняла меня.

— Алеша! Ты пожалеешь обо мне, если я умру?..— сквозь слезы спросила она, прижимаясь горячей щекой к моему лицу.

Несколько ее горячих слез упало мне на щеку,— я отер их и старался успокоить Леночку, просил не думать о смерти (терпеть не могу таких дум!), говорил ей, что все это — вздор, что все женщины рожают, а, однако, редко умирают от родов.

— Все-таки же умирают! — настаивала Лена.

Я посадил ее к себе на колени, ласкал и утешал ее: не она — первая, не она — последняя, она у меня такая здоровая, так отлично сложена, кость у нее широкая,— и бояться ей решительно нечего.

С большим неудовольствием, даже, можно сказать, с отвращением думал я о нашем будущем ребенке. Для чего он мне? Что мне в нем? Сходясь с Леночкой, я вовсе о нем не помышлял. Я только думал о любовных удовольствиях, а вовсе не имел в виду сделаться отцом семейства. Вот еще,— очень нужно... при моих-то средствах! (В то время я получал только девятьсот рублей в год.)

Пеленки, простынки, свивальники, тряпки, мочалки, корыта... Каждый день стирка, пачкотня, запах детского белья на всю квартиру... Хорошо обзаводиться этими жи-

выми игрушками тем, у кого в распоряжении анфилады комнат да целая ватага всякой челяди. А тут с одной прислугой, в трех комнатах с ребенком,— да просто задохнешься, измучишься! Говорят, в деревнях живут человек по пятнадцати — восемнадцати в одной избе. Мало ли что! Вон крестьяне по зимам и со скотиной вместе живут. Не пример для нас... Крестьяне и сами-то от рабочего скота мало отличаются...

Нет! Будущий ребенок мне вовсе не нравился. Уж если признаться, я досадовал на него и за то, что благодаря ему Леночка так подурнела. Юнона обратилась в беременную барыню... Конечно, я и теперь любил Лену, то есть она и теперь мне казалась иногда привлекательной. Но ребенок... ребенок смущал меня, и я ждал его рождения, как появления на свет своего личного врага. Хлопоты о маленьком приданом, по-видимому, доставляли Леночке великую отраду, а меня раздражали и бесили. Когда Леночка начинала толковать о каких-то бинтах, о губках, о треугольниках, я иногда не выдерживал и обрывал ее.

— Ах, оставь, пожалуста, эти пустяки! Как будто на свете только и речи что о ребенке! — резко заметил я ей однажды.

— Да как же, милый! Нельзя же *его* оставить голеньким...— кротко возразила Леночка.— Кто ж о *нем* позаботится?.. За что ж ты сердишься? Я ведь тебе не мешаю...

Положим, она не мешала... Это верно. Но зато она растеряла из-за «него» все свои уроки. Ходить на уроки в *таком* положении барышне, разумеется, было неприлично. Расходы мои все увеличивались. А что будет с появлением ребенка? *Он,* этот ожидаемый таинственный незнакомец, начинал нагонять на меня панику. «О господи! Чем же все это кончится!» — мысленно восклицал я и чувствовал себя глубоко несчастным. «Родительский инстинкт», «голос крови», «врожденное чувство любви к детям»... Прошу покорно разобраться в этой галиматье. И замечательно, в течение многих веков люди, как попугаи, не отдавая себе никакого отчета, повторяют эти изречения...

Наконец первого апреля — в день по преимуществу лжи и обмана — *он* появился на свет. Сын!..

Против всех моих ожиданий роды оказались очень трудными благодаря тому, что восемнадцатилетняя мать была еще глупа, а я, разумеется, не мог знать, что для родов требуется некоторая подготовка. По словам повивальной бабки оказалось, например, что Леночке были нужны какие-то ванны, что Леночке следовало больше ходить, а она между тем последние два-три месяца почти постоянно сидела дома. Одной почему-то выходить ей не хотелось, а мне, понятно, было неловко гулять с ней по улицам; ее положение меня шокировало, и я под разными благовидными предлогами отказывался сопровождать ее.

Пришлось звать доктора, но до операции, впрочем, дело не дошло: здоровая натура Леночки справилась без щипцов и хлороформа. А в аптеку все-таки пришлось побегать, и ночью мне совсем не удалось заснуть.

Поутру, когда все было уже кончено и прибрано, я вошел в спальню. Леночка была очень измучена, но показалась мне чрезвычайно мила в своей белой кофточке с кружевами и в кокетливом маленьком чепчике на распущенных белокурых волосах. Она была бледна, но голубые глаза ее сияли, «как звезды», сказал бы поэт. Рядом с нею, на подушке, лежало маленькое красное существо. Мне, разумеется, тотчас же указали на него. Я наклонился над ним.

Глазенки — чистые, как ясное небо в майское утро — казалось, пристально, пытливо посмотрели на меня, — словно этот выходец из тьмы небытия хотел спросить: «Зачем вы меня вызвали на божий свет? Что вы мне дадите? Что вы готовите для меня в жизни?..» Мне на мгновенье стало как-то жутко под взглядом этих ясных глаз, еще никогда не лгавших и не видавших никакой житейской мерзости. Я даже вздрогнул... Нервы, конечно! Если сутки поволнуешься, недоешь, недопьешь, не поспишь ночь, так, разумеется, каждый пустяк может довести чуть не до обморока... Затем, смотря на сына, я как бы в ответ на его немой вопрос сказал про себя: «Я не звал тебя! И не думал я тебя вызывать! И мысли у меня не было о тебе, когда я впотьмах на площадке лестницы в первый раз обнял *ее* и сказал ей: «Люблю!» Вовсе я не помышлял о тебе и в то время, когда гулял с Леночкой под ветвями смолистых, пахучих сосен при

волшебном свете луны... В поэзии тех дней и ночей не было места для мысли о тебе!» И я говорил сущую правду...

— Что ж ты, Алеша, не поцелуешь его? Поцелуй! — тихим, усталым голосом сказала Лена.

Я нехотя прикоснулся слегка губами к его нежной щечке, но вдруг лицо его сморщилось, губы сложились в горькую гримасу. Ребенок заплакал. Вероятно, я уколол его своей бородой или усами... Ведь не мог же он, разумеется, понять смысла моего холодного, недоброжелательного взгляда на него; не мог же он — этот кусок мяса — знать, что я вовсе-вовсе не рад его появлению, что без него мне было гораздо удобнее с Леночкой наслаждаться жизнью. «Началось!» — подумал я, глядя на плачущего ребенка. А однако знаменательно... Мой поцелуй заставил сына в первый раз заплакать...

Мать в ту же минуту взяла дитя, и дитя мигом утешилось на ее груди. С какою любовью, с каким восторгом Леночка смотрела на него! Конечно, я не мог ревновать Леночку к этому куску мяса,— но все-таки теперь, при взгляде на мать и ребенка, мне пришли в голову кое-какие мысли, не совсем лестные для моего самолюбия... Если бы в наше время существовало некое сказочное чудовище, если бы это чудовище потребовало для себя человеческой жертвы и если бы Леночку спросили, кем она готова пожертвовать — сыном или мной? то я вовсе не уверен, что не очутился бы в ужасной пасти этого чудовища...

— Не правда ли, Алеша, ведь *он* походит на тебя? — спросила Лена, с радостной, светлой улыбкой смотря на дитя, прильнувшее к ее груди.

Леночка смотрела на него так, как будто увидала в банковской таблице, что на наш билет выпал выигрыш по крайней мере тысяч в сорок. Я не разделял ее телячьих восторгов и находил, что предмет ее восторгов ровно ни на что не похож.

— Напротив, мне кажется, он скорее похож на тебя! — заметил я лишь для того, чтобы сказать что-нибудь.— У него глаза совершенно твои!

— Глаза... да! это правда...— любовно смотря на ребенка, промолвила Лена.— Но лицо твое, и волосики темные, и вьются — так же, как у тебя.

— Я слыхал, цвет волос у ребят меняется!..

— Алеша! Мы назовем его Александром!

— Как хочешь, милая! — поддакнул я.

И действительно, мне было решительно все равно, как ни назвать этот кричащий кусок мяса: Александром, Иваном или иначе...

Прошло две недели. За это время наш Саша (уже окрещенный) заболевал раза два или три. Приходилось звать доктора, да еще не одного, потому что первый доктор — серьезный молодой человек,— по мнению Лены, отнесся к Саше весьма невнимательно,— потрогал у него только животик да «пощелкал пальцем по спине» (ее собственные слова). Зато другой доктор, старичок, нам очень понравился. Он, собственно говоря, был ничуть не внимательнее первого, но опытнее и гораздо лукавее. Он похвалил ребенка.

— Какой славный, здаровый мальчуган! просто прелесть...— проговорил доктор.

Леночка нашла, что он ужасно знающий врач, и настояла на том, чтобы заплатить ему не менее трех рублей...

Жизнь моя окончательно выбилась из обычной колеи (впрочем, она выбилась еще раньше, с того момента, как я ввел Леночку в свой «дом»). После обеда я обыкновенно ложился отдыхать с газетой часа на полтора; интересно узнать: о чем потолковал император Вильгельм германский, с кем на свидание поехал итальянский министр Криспи, как поживает mister Гладстон и т. д. Строго-то говоря, мне до них не было никакого дела, но привычка... Отдохнувши, я отправлялся гулять, или к знакомым на винт, или наконец в Малый театр. Я всегда охотно любовался на бюсты (не знаменитых людей, разумеется, а на женские бюсты). Ночью, как всякий благонамеренный гражданин, я любил покой... А тут беготня за докторами, в аптеку, туда и сюда, ночью до меня иногда доносился детский плач. Все это, конечно, ужасно расстраивало меня.

Положим, Лена все больше сама возилась с ребенком и днем и ночью, и эта возня, по-видимому, доставляла ей громадное наслаждение. Но иногда она чувствовала себя дурно, ей нужен был ночью покой, и мне в таких случаях приходилось не спать по целым часам. Я ходил

с ребенком по комнате, укачивая его,— и злость меня разбирала на это несносное, надоедливое существо. Так, кажется, иной раз взял бы его да и хватил головой об стену... Но такое душевное помрачение, конечно, через мгновенье улетучивалось. Упоминается о нем лишь потому, что из песни слова не выкинешь. Я — человек не кровожадный, мне даже противно было раздавить прусака (таракана), и, уж конечно, прокурору я никогда не доставлю случая расточать его красноречие по обвинению меня в умерщвлении ребенка...

Много лет тому назад один известный профессор в своих публичных лекциях из анатомии и физиологии мозга говорил, что в головном мозгу есть такой нежный, чувствительный пункт, что если уколоть его булавкой, то смерть последует моментально. Интересный предмет... Где этот пункт — я теперь не помню. Но он есть, это — верно!..

Пускай глупцы толкуют о «врожденном» чувстве любви к своим детям, о «голосе крови» и тому подобной чепухе. Не скажу, чтобы я был зверь, изверг человеческого рода, но тем не менее к своему детищу я не только не питал никакого теплого чувства, но, напротив,— подумывал о том, как бы мне отделаться от него какимнибудь благовидным манером. (Повторяю: не убийством. Хотя я — человек со слабостями и грешками, но на подобное-то злодейство я не способен.)

Тут вышел один *случай*... Не будь этого случая, так мне, разумеется, наплевать! Живи Саша у меня на квартире... тем более что Лена торжественно, чуть не под клятвой обещала, оправившись от болезни, совершенно избавить меня от обязанностей нянюшки и гарантировать мне спокойный сон по ночам, и послеобеденный отдых, и возможность повинтить во всякую данную минуту.

— Милый! Он у меня не будет плакать... Уверяю тебя! — успокаивала меня Лиса Патрикеевна.

Дело в том, что около того времени мне блеснула в будущем возможность устроить очень выгодное дельце. Познакомился я с одной богатой вдовушкой. По слухам, у нее было до шестидесяти тысяч капитала да в каком-то черноземном захолустье клочок земли в тысячу десятин. Вдовушка и сама по себе была аппетит-

на — довольно полная, лет тридцати пяти, брюнетка, с блестящими черными волосами, с пухлыми пунцовыми губками и так далее, а уж с денежной стороны она представлялась изумительно лакомым кусочком. Мне показалось, что она была неравнодушна ко мне, и я решился заняться ею...

Я рассуждал так: ребенок — вещественное доказательство, живая улика; он может связать меня по рукам и ногам. Не будь ребенка, мне было бы сравнительно легко сладить с Леной. Ну, пришлось бы вынести несколько неприятностей, выслушать ряд упреков... рыдания, слезы и стоны, как вообще довольно верно описывается в романах. Но ведь я же для того и мужчина, чтобы не поддаваться сентиментальностям, которые обыкновенно нашего брата до добра не доводят. Одним словом, мы с Леночкой разошлись бы без скандала, и я мог бы в качестве законного супруга преспокойно присосаться к моей черноземной вдовушке... Однажды вечером, когда я уже лежал в постели, мне пришла в голову блестящая мысль. На другой же день я стал приводить ее в исполнение.

Охотники на дрохв обыкновенно начинают издалека ездить кругом стада этих зорких, осторожных птиц, с каждым кругом все ближе и ближе подъезжая к своим жертвам, и наконец, когда дрохвы очутятся на ружейный выстрел, охотники, соскочив с дрог или прямо из экипажа, стреляют птицу...

Так и я начал издали подходы к своей «дрохве» и кстати, к слову — с грустным видом — стал заговаривать с Леночкой о том, что ребенок нас стеснит. Я до четырех часов в правленье, возвращаюсь домой усталый, «разбитый», «часто с головною болью» (поэтическая вольность!) и помогать ей не в силах; она с ребенком на руках, конечно, не может ходить на уроки в пансион. А если она не станет ничего вкладывать в хозяйство, то нам, пожалуй, придется туго, придется иной раз поголодать, и вся эта денежная неурядица может неблагоприятно отразиться на «бедном Саше». Поручить ребенка кухарке — рискованно; нанять няньку — нет средств. Мертвая петля, да и шабаш!.. И в то же время я намекал на то, что могу отвезти Сашу в имение к матери (мать моя в ту

пору была еще жива и сидела в своем разоренном, полуразрушенном Михальцеве).

Леночка не хотела и слушать о разлуке с сыном. Ни боже мой! Ни за что на свете!.. Вот она ужо оправится. Сашурка окрепнет, тогда она отнимет его от груди, станет кормить коровьим молоком,— и ей будет можно снова приняться за уроки.

— Да когда же это будет? — возражал я.— А деньги наши убывают.

-- Ах, Алеша! Погоди же немного... Какой ты, право!.. Видишь, как Саша еще слаб, да и я не в силах...— говорила Леночка, жалобно посматривая на меня и протягивая по одеялу свои исхудалые руки. (Она то несколько дней бывала на ногах, то опять ложилась в постель.)

Я пошел далее — и продолжал кружить вокруг «дрохвы».

Неужели она училась на счет народа и так развилась духовно лишь для того, чтоб закабалить себя в детской и в кухне, обратиться в мамку и в няньку... А что еще выйдет из Саши,— бог весть! Разве мы редко видим, как у почтенных родителей бывают дети такие негодные, что родителям с прискорбием приходится отказываться от них? На иного балбеса родители затратят тысячи, а от него людям ничего, кроме горя... Неужели, говорил я, материнство превратило ее в «самку» (в худшем смысле этого слова) и совсем отрешило от общественных интересов? Неужели дальше свивальников и пеленок она уже ничего не видит в мире?..

Тут мне припомнились разные «книжки» и «статейки», которыми некогда зачитывались мои товарищи и за которые я тогда не дал бы гроша ломаного... потому что был глуп. А вот теперь мне и пригодились все эти «книжки» и «статейки». Я стал говорить Леночке об общем благе, о вековом долге народу, о служении идее, о том, что «обильною скорбью народной переполнилась наша земля», et cettera et cettera[1]. Леночка поколебалась... Я так и знал,— знал, чем можно пронять ее. Но все-таки она устояла. Возражение с ее стороны последовало то же: она поправится, примется за работу, а из Саши она вырастит «достойного гражданина».

---

[1] и так далее (*лат.*).

Но, очевидно, Леночке было совестно. Она покраснела и не решилась посмотреть мне в глаза, пылавшие в те минуты таким огнем и одушевлением, каких хватило бы на сотню Кромвелей и Вильгельмов Теллей.

Я пошел еще дальше... Если она думает о «достойном гражданине», говорил я, то прежде всего нужно постараться о том, чтобы ребенок вырос здоровым и сильным. А в Петербурге, при здешнем климате, при здешней зараженной почве и воде, при фальсификации всех продуктов (за исключением яиц), начиная с молока и кончая вареньем на «глицерине», к тому же при наших условиях жизни — в трех маленьких комнатах — трудно, даже едва ли возможно, вырастить здорового человека. Я много и подробно говорил Леночке об ужасах английской болезни, об оспе, скарлатине, дифтерите, о кишечных, желудочных катарах и других болезнях, по-видимому на вечные времена свивших себе гнездо в Петербурге.

Разумеется, я иллюстрировал свою мысль блестящими примерами из жизни моих знакомых, то есть убийственно грустными фактами смертности в среде детей. С видом глубокого, искреннего сокрушения и тяжело вздыхая, я говорил о несчастных малютках, таких бледных и чахлых... Неужели ей не жаль петербургских детей?.. Если она хочет вырастить какую-нибудь нервную хворую дрянь, которую первый же порыв сквозного ветра может унести в могилу, то пускай она оставляет Сашу при себе, пускай тешит этою живой игрушкой свой материнский эгоизм.

Наконец-то!.. Я попал в цель. Леночка уже не могла энергично возражать мне, Леночка сдавалась. А я, не давая ей ни отдыха, ни срока, продолжал ковать свое железо. Я начал читать ей на сон грядущий газетные сообщения о размерах заболеваемости в Петербурге, о развитии той или другой эпидемии и т. п. Леночка слушала эти вести — это газетное memento mori [1] — и бледнела...

Иной чувствительный болван, пожалуй, заметит, что я подвергал Лену самым утонченным пыткам хуже всяких «испанских сапогов» и «нюрнбергских красавиц». Я мог бы возразить, что подобное сравнение не только

---

[1] помни о смерти (*лат.*).

не остроумно, но даже просто бессмысленно. На войне нет жестокостей. Между мной и Леной шла борьба, происходил поединок, причем я нападал, а она защищалась... я остался победителем — et voilà tout [1].

С другой стороны, я не жалел красок при описании тех благ, что ожидали Сашу в деревне. Здоровая пища, отличное молоко — без подмесей, прекрасный воздух, сад, самый бережный уход за ребенком, наконец доктор в трех верстах и там же аптечка — одним словом, в том благодатном краю наш Саша, как сказочный Антей, наберется сил, вырастет здоровым, сильным, краснощеким, настоящим богатырем, и тогда уж можно будет делать из него какого угодно «гражданина» — во вкусе Чичерина или Марата [2].

Ночи две Саша спал беспокойно и покашливал, днем плакал и «сучил ножками». На третий день утром Леночка не выдержала и сдалась окончательно. Прячась за самовар и украдкой глотая слезы (ей уже было известно, что я не терплю бабьих причитаний), дрогнувшим голосом она промолвила:

— Я уж, право, не знаю, Алеша... что мне делать! Не отправить ли в самом деле Сашу в деревню? Он как будто начинает хиреть...

— Конечно, он страшно похудел... стал совершенно зайчонок! Давно бы его следовало отправить...— поддержал я ее решимость.

— Только как мне быть!.. Милый, мне так жаль его! Он такой маленький и... и я так привыкла к нему!

И Леночка, как ребенок, закрыв лицо руками, горько зарыдала. Я старался успокоить, утешить ее.

— Там старухи... пожалуй, окормят его чем-нибудь... станут пичкать чем попало...— печально говорила она, стараясь подавить рыдания.

— Вот глупости! — возражал я.— Моя мать, слава богу, умеет ходить за детьми... Я могу, кажется, служить недурным примером ее уменья вести детей...

---

[1] и все *(франц.)*

[2] Чичерин Б. Н. (1828—1904) — известный историк, философ и юрист, типичный буржуазный либерал, сторонник конституционной монархии. Марат (1743—1793) — выдающийся деятель французской революции.

Я выпрямился на стуле и, выпятив грудь, самодовольно усмехнулся.

— Теперь начало мая...— продолжала Леночка.— В июне или в июле я ведь могу съездить к твоей мамаше хоть ненадолго... только повидаться с *ним*?

— Что за вопрос! Конечно, можешь...— весело согласился я.— Хочешь, так вместе поедем!.. Возьму отпуск на месяц...

— Только, пожалуста, Алеша, чтобы мамаша каждую неделю писала нам... ну хоть строк пять — десять...— заметила мне Лена.

— Ну, разумеется...

Участь Саши была решена... Леночка, очевидно, уже не колебалась, а только страдала при мысли о твердо принятом намерении... Уходя в то утро из дому и прощаясь с Леночкой, я почувствовал себя как-то неловко при взгляде на ее грустное лицо, такое измученное и бледное от бессонной ночи. Она всю ту ночь просидела над ребенком и проходила с ним по комнате. Я слышал из своей комнаты ее шаги и тихое баюканье, но мне хотелось спать и лень было вставать — идти к ней на смену... Глаза ее были красны, на лице следы слез.

Хоть мне и было неловко (не скажу, чтобы «совестно»), но я все-таки с живейшим любопытством наблюдал за Леной. Вивисекция — вещь чрезвычайно интересная для всякого мыслящего человека.

Я еще с детства отличался особенной склонностью к наблюдениям над животными. У нас в саду, за липовой аллеей, близ пруда, лягушек была масса. Как они вечером, бывало, примутся квакать, так на балконе просто неудобно было разговаривать... Заглушают!.. Вот я возьму, бывало, да палочкой и прижму лягушке лапу к земле — и пытливо смотрю, как она ежится и корчится от боли, старается вырваться. Или ударю ее, переверну на спину и палкой упрусь ей в брюшко... Дергает она беспомощно лапками, таращит на меня глаза, силится приподняться, вертит своею безобразной головой,— а я стою, наклонившись над нею, наблюдаю за ее судорогами и смотрю на ее вытаращенные глаза... Я проделывал свои опыты и наблюдения также над кошками, над щенятами... С годами моя любознательность развилась в этом направлении; с лягушек и тому подобной мелкоты я пе-

ренес свои опыты на человека, что, конечно, было уже гораздо интереснее...

Сашу начали отнимать от груди и приучать к коровьему молоку. Наконец я попросил у начальника трехдневный отпуск и взялся отвезти ребенка в деревню... Я велел прислуге нанять карету на Николаевский вокзал и привести ее к подъезду. Лена очень долго прощалась с ребенком, как будто тот в самом деле что-нибудь понимал. Она почти все утро прощалась с ним... (По ее мутным, покрасневшим глазам и по измятому личику могу подозревать, что это прощанье началось еще с вечера и продолжалось всю ночь.)

Когда Сашу закутали в одеяльце, Леночка опять принялась прощаться с ним. Она несчетное число раз целовала его в губы, в щеки, целовала ему глаза, волосенки, плакала так горько-горько и своими слезами закапала Саше все лицо... Наконец на прощанье я дал Леночке Иудин поцелуй, схватил «дорогую ношу» и пошел... Леночке в тот день опять прихварывалось, и она ужасно жалела, что ей нельзя было поехать на вокзал. Лена уже с лестницы воротила меня...

— Постой, постой, Алеша! Иди-ка сюда!..— сильно взволнованным голосом крикнула она мне.

Пришлось воротиться.

— Что такое? Забыла что-нибудь? — спросил я с досадой.

— Нет, нет... Я вот только... сию минуту! — растерянно бормотала она, обливаясь слезами.

— Мы опоздаем на поезд!

— Я не задержу, милый... Я сейчас!..

Бледною, дрожащею рукой она трижды перекрестила малютку, порывисто наклонилась над ним и опять впилась в него губами. Не нацеловалась еще досыта!..

— Ну, теперь неси... бог с вами! Поезжайте! — говорила она сквозь слезы, а сама все продолжала цепляться за ребенка и не пускала нас.

Видя, что действительно дальние проводы — лишние слезы, я наконец со всевозможной осторожностью вырвал у Леночки свою «дорогую ношу» и пошел. Она уже не решалась более ворочать меня... Ну, признаться, такого обилия слез я еще ни разу не видал в жизни. Я готов был поверить, как это ни странно, что эта восемнадцати-

летняя мать и в самом деле очень любила свое дитя...

День был ясный и теплый. В воздухе припахивало распускавшимся листом. Гуляющие — взрослые и детишки — почти сплошной толпой двигались по тротуарам. Там и сям были видны парни со связкой ярко-красных пузырей, поминутно норовивших сорваться с веревки и унестись в лазурную высь. Слышны были звуки шарманок, которых теперь совсем не слышно... Праздник весны был в самом разгаре... Я очень жалел, что Леночка сидит в комнате и не может воспользоваться такой прекрасной погодой: свежий воздух возвратил бы ее щекам румянец, блеск — ее глазам и сделал бы ее по-прежнему интересной...

Когда карета завернула за угол, я опустил стекло и крикнул извозчику:

— На Мойку... в воспитательный дом!

Я ни минуты не думал отвозить Сашу к моей матери: я очень хорошо знал ее взгляды на нравственность вообще и на женскую нравственность в особенности. Как бы она ни любила меня, но ни за что не признала бы любовницу моей женой, своей «невесткой», и назвала бы Леночку так, как принято попросту звать падших женщин. Разбираться в разных тонкостях было не ее ума дело. Легче было бы голыми руками выворотить с корнями пень из земли, чем сбить старуху с ее позиции. Заговори я с матерью хоть языком ангелов, она все-таки не приняла бы к себе в дом ни Леночку, ни нашего ребенка (только постаралась бы во что бы то ни стало взглянуть на них украдкой, заплатила бы за это удовольствие большие деньги, поплакала бы, может быть).

Устроив Сашу в воспитательный дом, я воспользовался трехдневным отпуском и уехал по Варшавской железной дороге на станцию Сиверскую к одним знакомым, уж давно приглашавшим меня к себе. Время провели приятно — перекинулись в картишки, ходили гулять в лес, любовались на живописные виды. Впрочем, лес на картинах художника Шишкина мне больше нравится, чем в действительности... В сиверских лесах было еще сыровато, и я загрязнил себе сапоги.

«И он мог еще гулять после того!..» — заметит на мой счет иной нервноразвинченный субъект. А что же мне

было делать в такую прекрасную погоду?.. «Ведь все это ужасно жестоко... И неужели он не чувствовал угрызений совести?..» Вот это мило! Совесть... А за что же бы совести меня грызть?

Леночка сильно ошибалась; она мечтала служить разом двум богам. А между тем ей следовало или удержать при себе ребенка и сделаться нянькой и кухаркой, или расстаться с Сашей и снова приняться за учительскую деятельность. Что же я сделал такое ужасное? Какое же преступление я совершил? Пускай человек отрешится, если может, от всех предрассудков и заблуждений ума и чувства, и тогда он сам увидит, что я только *возвратил* обществу полезного члена. Если же произошло такое удачное совпадение, что, возвращая обществу хорошего работника, я в то же время возвратил себе любовницу и развязал себе руки по отношению к богатой вдовушке, то уж это — мое счастье... Саша! А что ж такое? Был ли бы он еще счастливее, оставшись с нами?.. Найдется ли в мире такой мудрец (человек искренний и правдивый), который положительно, вот сейчас же, ответит мне на этот вопрос без всяких «если» и «но» и смотря мне прямо в глаза? Да счастье-то что такое? Где оно? в чем оно? У каждого человека на этот счет ведь свой аршин...

Меня всегда удивляло, что на человеческом языке существует так много очень красивых, звучных слов, но притом совершенно бессмысленных. Вот хоть взять «угрызения совести»... Ведь от таких слов у иной несчастной старушонки последний волос на голове дыбом встанет. А если хорошенько разобрать все эти ужасные глаголы, то и окажется — ерунда.

Пушкин, например,— наш препрославленный певец женских «персей», «ручек» и «ножек» — говорит, что «совесть — когтистый зверь, скребущий сердце, незваный гость, докучный собеседник, заимодавец грубый (?)... ведьма, от коей меркнет месяц (?) и могилы смущаются и мертвых высылают!..» Что ж это такое, как не набор фраз? Я готов голову прозакладывать за то, что «угрызения совести» выдумали романисты. Эти канальи — большие мастера сочинять для потехи всякие страшные и жалкие слова. Меня, например, совесть никогда не мучила, хотя и я, конечно, по слабости, присущей челове-

ческой натуре, поступал иногда дурно, не совсем правильно. В часы ночной бессонницы «когтистее» клопа или блохи никакой зверь меня не кусал...

На третий день вечером я благополучно возвратился домой. Расспросам о Саше, я полагаю, не было бы конца, если бы я насильно не прекратил их.

— Извини, голубушка! Устал ужасно... и спать хочется до смерти! — сказал я, зевая и потягиваясь.

Впрочем, ночь я спал дурно...

Я попросил одну свою «старую» тверскую знакомую каждую неделю писать мне о «милом Саше», о том, что он здоров, растет не по дням а по часам, аукает и, кажется, все уже понимает, только не говорит. Я предупредил ее, в чем дело; она должна была, по возможности, подделываться под руку моей матери, то есть писать старинным прямым почерком и подписываться фамилией моей матери. Я редко переписывался с матерью и рассчитывал, что Лена не заметила хорошо почерка моей старухи и не помнит его.

Через неделю пришло письмо и невыразимо обрадовало Леночку...

Она той порой стала заметно поправляться, появился румянец. Она опять стала делаться интересной... О Саше, конечно, она болтала постоянно, несколько раз перечитывала подложное письмо, составленное, впрочем, довольно мастерски, вязала Саше чулочки, шерстяные башмаки, какие-то белые дурацкие колпачки, вышивала ему к зиме одеяльце — одним словом, вся жизнь ее наполнялась мыслью о Саше. Впрочем, это меня не касалось, чем бы дитя ни тешилось... Леночка была счастлива или по крайней мере спокойна — и прекрасно!

— Он уж, может быть, теперь говорит: «Ма-ма!» — соображала Лена, и я вполне разделял эту ее сладостную надежду.

В то время когда все шло отлично, Леночка успокоилась и вдовушка продолжала делать мне глазки, вдруг дернуло мою тверскую знакомую захворать; она укатила куда-то на юг, и письма о Саше прекратились. Первую неделю Леночка еще довольно терпеливо ждала письма, а затем загрустила и стала приставать ко мне:

— Что ж это такое? Уж две недели писем нет! Вероятно, Саша заболел... Ах, господи! Спаси его и помилуй!..—

взывала она по десяти (а может быть, и по сто) раз в день.— Алеша! Голубчик! Уж не умер ли он? Мамаша, может быть, не решается сообщить об этом. Послать бы телеграмму, что ли! Ах да... туда нет телеграфа!

Я всячески уговаривал ее, но все напрасно. Она слезно умоляла меня взять отпуск и мчаться, лететь с нею в Тверскую губернию, туда-туда, где — ее «золото», ее «сокровище», ее «ненаглядный Сашурка»... Я уверял ее, что раньше июля начальник отпуска не даст, так как много служащих отпущено на июнь месяц. Однажды, когда я возвратился домой, Лена преподнесла мне сюрприз...

— Алеша! Сегодня утром я совсем забыла тебе сказать... Я, право, так беспокоилась... и написала Наталье Михайловне. Прошу ее немедленно уведомить нас о здоровье Саши...— заявила мне Лена. (Мать мою звали Натальей Михайловной.)

Я был застигнут врасплох и едва ли не схватил себя за волосы.

— Что с тобой, Алеша? — вскричала Лена, вероятно заметив по моему лицу, что ее новость меня глубоко взволновала.

— Ничего! — старался я поправиться.— Только напрасно ты это сделала... Попусту беспокоишься...

— Отчего ж мне было не написать ей? Ведь ты же говорил, что она уже давно знакома со мной... и так хорошо относится...— как бы оправдываясь, говорила Лена.

«Заварила кашу! Глупая, глупая! — подумал я про себя. Разве худо ей жилось в мире «красных вымыслов»?.. Чего ей было еще надо?» Впрочем, если обману моему и суждено теперь раскрыться, то не беда. Мне только было нужно, чтобы Леночка успокоилась, нужно было выиграть время — и я выиграл его... По моим расчетам, особенно жгучих порывов отчаяния теперь уже нельзя было ожидать... Каков должен был прийти ответ на письмо Лены из Михальцева,— я, уж конечно, догадывался. Что ж делать! Леночка поплачет, похнычет, в худшем случае назовет меня подлецом,— и затем трагедия мало-помалу перейдет в фарс, то есть несколько времени Леночка подуется на меня, поиграет в молчанки, побросает на «подлеца» презрительные взгляды, а там — и примирение...

Кроме этой неприятности, около того же времени меня поразил более тяжелый удар. Моя вдовушка (черт бы ее побрал!) сдурела — скоропостижно вышла замуж за какого-то прокутившегося офицера и ухнула с ним за границу.

Через несколько дней, когда я был на службе, почтальон принес ко мне на квартиру письмо от моей матери на имя «г-жи Е. Неведовой». Старуха моя до сего времени, конечно, не имела и понятия о существовании на свете Леночки и послала письмо просто по адресу той неизвестной ей женщины, которая в письме к ней подписалась Е. Неведовой.

Леночка, по обыкновению, встречала меня или в передней, или в зале и с поцелуями усаживала меня за стол на мое кресло. В день же получения письма я не нашел ее в передней, не встретил и в зале — и прошел к ней в комнату. Леночка лежала на постели, уткнувшись лицом в подушку и сжимая в руке письмо. Я, разумеется, тотчас же догадался, в чем дело. При входе моем в комнату Леночка вскочила с постели и, тяжело дыша, молча протянула мне письмо. Очевидно, она была страшно расстроена, и в глазах ее, обыкновенно таких кротких и светлых, теперь действительно мелькало что-то мрачное, трагическое...

Я уже отлично знал содержание письма, как будто бы читал его не однажды, но все-таки взял у нее из рук смятый и смоченный ее слезами почтовый листочек и мельком пробежал его... Ну, разумеется: «Никакого ребенка у меня не было и нет... напрасно беспокоитесь... никогда не поощряла разврата... прошу оставить... удивляюсь бесстыдству... надеюсь, что более...» Одним словом, все было так, как я ожидал.

Вдруг Леночка бросилась ко мне и крепко обняла меня.

— Где же наш Саша? — с мольбой говорила она, плача и опуская голову ко мне на грудь.— Ты обманул меня... Да говори же, где мой сын? Куда ты девал его?.. Алеша! Милый!..

Она вся дрожала. Мне, признаться, даже стало жаль ее в ту минуту.

— Прости меня... Прости, Леночка — промолвил я, по возможности мягко и нежно.— Не плачь, голубушка...

Ну, не плачь же! Успокойся!.. Я тебе все объясню... Видишь... (Она подняла голову и, не сводя глаз, затаив дыхание, смотрела на меня.) Видишь... я не отвозил Сашу к матери...

— А куда же?.. Куда? — крикнула она, как-то судорожно, порывисто сжимая мне руку, как в тисках.

— Я... я отдал его в воспитательный дом!

Словно какая-нибудь невидимая сила оттолкнула ее от меня. Она отшатнулась и страшно побледнела... нет! не побледнела, а побелела как полотно. Ни кровинки, казалось, не осталось у нее в лице. Глаза ее широко раскрылись... И вдруг она схватилась за голову...

— Что ты говоришь!..— тихим, упавшим голосом, словно бы не своим, прошептала Леночка.— В воспитательный дом? Сашу? А как же письма?.. Я ничего не понимаю...

Она не договорила, в бессилии опустила руки и как-то странно уставилась в одну точку широко раскрытыми глазами, как будто увидала перед собой какое-нибудь ужасное привидение. Я подумал: не вспомнились ли ей в ту минуту всякие россказни и басни о печальной участи подкидышей воспитательного дома. Не померещился ли ей в ту минуту ее Саша в виде уличного оборванца, дрогнущего на морозе и вымаливающего у прохожих «копеечку»? Таких жалких попрошаек она, конечно, должна была не редко видать на петербургских улицах...

Мне показалось, что Леночке делается дурно, я подхватил ее и — без всякого с ее стороны сопротивления — посадил ее на кресло у окна. Она облокотилась на подоконник и, подгорюнившись, молча стала смотреть в окно. Я подал ей стакан воды, она не брала и делала вид, что будто не замечает меня. Я поднес ей стакан к губам, она молча замотала головой и отвернулась... Такого дикого, безумного отчаяния я не ожидал.

Весьма убедительно я уговаривал ее успокоиться, просил прощенья, обещал завтра же съездить в воспитательный дом, отыскать Сашу,— я вставал перед ней на колени, сидел на ковре у ее ног, называл ее самыми ласковыми именами. Что ж я мог еще сделать? Желал бы я знать, как же другой поступил бы на моем месте? Леночка, по-видимому, решительно не хотела разговаривать со мной, даже ни разу не взглянула на меня. Леночка

в тот день не обедала и чаю не пила, все сидела пригорюнившись у окна и не обращала на меня ни малейшего внимания.

— Ну что ж ты молчишь? Скажи хоть словечко... Что уж это такое?! — приставал я к ней.

Ноль внимания! Леночка слушала меня и как будто не слыхала, смотрела и не видала меня. Я словно перестал существовать для нее... Я уже знал, что она рассердится на меня, но никак не воображал, что она так распрогневается... Меня утешало то, что она хоть перестала плакать и слезы ее высохли.

Уже поздно вечером я почти насильно заставил Лену раздеться и лечь в постель. Спала ли она в ту ночь,— не знаю; ни всхлипываний, ни стонов не было слышно. Поутру я подошел на цыпочках к ее двери и долго прислушивался. В комнате было тихо. Уходя на службу, я велел прислуге ни под каким видом не будить ее. Пускай спит! — думал я. Иные болезни, я слыхал, проходят сном...

В обычное время, в половине пятого, аккуратный и точный, как полуденный пушечный выстрел, взбежал я на свой третий этаж и по-хозяйски, властно дернул звонок. Степанида с каким-то дурацким, растерянным видом встретила меня.

— Ой, батюшка барин! С Еленой Александровной что-то неладно...— принимая мое пальто, промолвила она таким шепотом, каким говорится, когда в доме опасно больной или покойник.

— Что еще такое! — с неудовольствием проворчал я.

«Неужели еще не кончились мои испытания?.. И за что, подумаешь, обрушились на меня все эти казни? Только за то, что я однажды на лестнице впотьмах поцеловал девицу (влюбленную в меня, прошу заметить!), за то, что я когда-то несколько вечеров погулял с нею в тихом сосновом лесу при волшебном сиянии луны?..

Леночка, не в пример другим женщинам, каких мне приходилось знавать на своем веку, отличалась большою скромностью, и, несмотря на сожительство со мной почти в течение года, она ни разу — честное слово! — не позволила мне присутствовать при своем туалете...

Теперь же, войдя в ее комнату, я застал Леночку не-

одетой... С распущенными волосами, прихваченными только на затылке большою шпилькой, в одной сорочке, без кофточки, босиком, бродила она по комнате и, низко наклоняясь, заглядывала под стулья, под столы.

— Лена! Что с тобой? — окликнул я ее, решительно ничего не понимая.— Пятый час... и ты еще не одета! А я пригласил сегодня обедать к нам Карла Густавовича... Он, вероятно, сейчас придет...

Услыхав мой голос, она остановилась, выпрямилась и совершенно спокойно смотрела на меня. Сорочка чуть не сползала у нее с плеч, но она как будто совсем не замечала своей наготы.

— Чего ты ищешь? Отчего не оденешься? — спросил я.

Она задумчиво на меня взглянула и, приложив палец к губам, прошептала:

— Тсс! Тише... Я ищу *его*! Не мешай... Я стану везде *его* искать...

Мурашки пробежали у меня по спине. Мне стало холодно, как будто я вдруг провалился в какой-то сырой, холодный склеп.

— Ах, теперь я знаю, где он!..— пробормотала она и, схватив стул, потащила его через всю комнату к печке — с явным намерением карабкаться на круглую и гладкую железную печь.

Тут уж я вмешался... взял ее в охапку и уложил в постель.

Положим, Леночка была очень спокойна, припадков бешенства на нее не нападало, но все-таки оставлять у себя сумасшедшую было опасно и, во всяком случае, неудобно. Я отвез ее в лечебницу. Хлопот было не мало... Вся эта история крайне неприятно подействовала на меня. Еще бы! Человек — не камень... Скажут, я свел Леночку с ума. Вздор!.. Кто ж мог думать, что такая молоденькая женщина, сама еще почти ребенок, так сильно полюбит своего дитятю, до того привяжется к нему?..

Сначала я часто навещал ее, почти каждое воскресенье... Ах, этот тихий, безмолвный поезд финляндской железной дороги! Сколько воспоминаний каждый раз пробуждал он во мне: по этой дороге в прошлое лето я ездил на дачу к Неведовым... Затем я стал навещать

Леночку раз в месяц, потом раз в три месяца, в полгода — раз... Что ж мне было с ней делать, когда она ничего не понимала и обратилась почти в бессловесное животное. Иногда, впрочем, Леночка узнавала меня, спрашивала, поливают ли без нее цветы? Куда девалось то одеяльце, что она вышивала для Саши? и тому подобное. Однажды вдруг она с чего-то спросила: приказал ли я поставить самовар? В другой раз сказала, что ветер любит деревья в их саду и потому он так налетает на них, шумит их ветвями, а иногда даже ломает деревья...

Лет пять Леночка прожила в лечебнице.

Я несколько раз также ездил в воспитательный дом узнавать о судьбе нашего сына. Сначала мне сказали одно, потом — другое и наконец, вероятно для того, чтобы отвязаться от меня, объявили, что Саша умер. Может быть, и в самом деле — так. И благо ему!.. А может быть, он и теперь еще живет в работниках у какого-нибудь чухонца или у русского кулака? В таком случае хуже для него... Но я сделал что мог и чувствую себя более вправе, чем Пилат, «умыть руки»... [1]

Однажды Лена больше обыкновенного разговорилась со мной и даже рассказала мне свой сон.

— Пришла ко мне женщина в такой белой, блестящей одежде...— рассказывала Леночка. ...Пришла и говорит мне: «Знаешь, где твой Саша? Хочешь, я проведу тебя к нему?» Я ужасно обрадовалась. И она повела меня куда-то, и я шла за ней,— и солнышко шло за нами, и птицы летели... А на земле, вокруг, все цветы, цветы... Вот и шли мы и пришли к какой-то двери. «Твой сын там, за этой дверью!» — сказала женщина. Я изо всей силы дергала, вертела ручку, трясла ее изо всей мочи, хватала ее зубами, стучала по ней кулаком,— ничего не могла сделать... Тогда женщина положила мне руку на плечо и сказала: «Надо подождать!..» И ушла от меня. Я осталась одна и заплакала... Тут с неба звезда покатилась и прямо — мне под ноги. В воздухе что-то блеснуло; точно

---

[1] Выражение «умыть руки, как Понтий Пилат» связано с легендой о римском наместнике Иудеи — Понтии Пилате, который, подписав смертный приговор Христу, символически при этом умыл руки, сделав вид, что не он, а иудейские жрецы желали ему смерти.

пламя,— и я будто бы ослепла... вскрикнула и проснулась... И теперь еще у меня голова болит...

И Леночка с утомленным видом поднесла к виску свою бледную, исхудалую руку.

Леночка вообще была очень худа и бледна; стан ее согнулся, глаза казались мутными... Теперь она совсем, совсем не походила на ту барышню, которую я встретил у своих знакомых в святочный вечер лет шесть тому назад... Уход за ней, впрочем, был отличный.

Месяца через три или четыре, хорошо не упомню, доктор той лечебницы, человек очень милый и обязательный, известил меня о смерти Леночки. Я намеревался непременно быть на ее похоронах, мне хотелось посмотреть на нее — на мертвую, в гробу, но как на грех в этот самый день случилось заседание железнодорожного съезда, и мне пришлось присутствовать там...

Ни разу я не видал Леночку во сне. А уж если бы увидал, непременно спросил бы ее, что она думает обо мне? Простила ли?.. То есть, собственно, в чем же?..

Все эти воспоминания — то смутные, то яркие — быстро промелькнули передо мной в тот святочный вечер, когда я — больной, один-одинехонек — сидел перед своим потухшим камельком. Да! Все прогорело и потухло... и от «дел давно минувших дней» остался только холодный пепел. И невольно мне подумалось: «А что, если бы Леночка теперь была жива и сын наш оставался с нами?..

Саше было бы теперь восемнадцать лет... Может статься, кроме него, были бы у нас еще дети... Леночка (ей было бы теперь 38 лет) подошла бы ко мне, обняла бы меня, поцеловала... И Саша — с ней рядом, высокий, такой же голубоглазый, как она, красивый, стройный...

Не велик человеческий череп, но какой в нем громадный мир, безграничный, бесконечный... И если на миг остановиться перед этим необъятным, загадочным миром и вглядеться в него, то он может внушить нам гордость Титана и восторг неописуемый, и в то же время он может повергнуть нас в отчаяние, в ужас и трепет. Лаборатория светлых помыслов, великих дум, поэтических образов, грациозных и прозрачных, как тончайшая паутина, могучая, страшная лаборатория самых чудовищных, злодейских замыслов, преступнейших посягательств на благо ближних, лаборатория безостановочно, лихорадочно, то-

ропливо работающая и ежечасно, ежеминутно могущая моментально прекратить свою деятельность, погрузиться во мрак или совсем исчезнуть...

И удивительные несообразности, удивительнее всяких сказочных вымыслов, рождаются иногда в том тесном и таинственном пространстве, что заключается под нашей черепной чашкой. «Если бы то... если бы это...»

Я приподнялся в креслах.

Уголья в камине уже давно подернулись золой. Свечи на письменном моем столе догорали. Часы показывали четверть третьего. Вокруг меня было тихо, как в могиле... И вдруг мне пришла в голову поистине блажная мысль — дикая и нелепая — сходить теперь же на Фурштадтскую улицу и взглянуть на окна той квартиры, где девятнадцать лет тому назад я жил с Леночкой и где — почти месяц — погостил у меня Саша... Я подошел к окну и отворил форточку, чтобы узнать, какова погода... Меня обдало холодом.

Метель... Снег так и крутится в воздухе. Месяц, бледный, как мертвец, выглядывает из-за проносящихся по небу облаков... Я захлопнул форточку. Нет! Погода неблагоприятная для прогулки — особенно для человека с насморком и кашлем...

Когда я посмотрел в окно на месяц и быстро бежавшие облака, мне невольно подумалось: что-то теперь там, в том памятном сосновом лесу, где *мы* бродили по летним вечерам? Вопрос — по меньшей мере — странный... Там, конечно, теперь не цветут цветы и птички не поют... там сугробы снега, ветер печально воет, там холодно и пусто...

Все эти воспоминания и неуместные думы о том, что было и что могло бы быть, расстроили меня не на шутку. В моих комнатах, обставленных довольно комфортабельно, мне вдруг показалось так же холодно и пустынно, как в *том* сосновом лесу, занесенном снегом... Мне захотелось — к людям... Мне страстно захотелось, чтобы теперь кто-нибудь был со мной; мне хотелось слышать чей-нибудь приятный голос, веселый смех и шум, оживленный разговор... У меня ведь была жена, был сын, но я сам...

Я опять опустился в кресло,— крепко стиснул зубы и провел рукой по лицу... «Плачь, жалкий человек! Плачь!» — припомнилась мне в ту минуту одна чувстви-

тельная фраза из какого-то романа. Вот не терплю вечно ноющих и причитающих людей!.. Самозванные пророки Иеремии... «Жизнь для *жизни* мне дана!» Вот это — так! Это я понимаю... Это значит: «Пиф-паф, тру-ля-ля!.. Смотрите тут, смотрите там...» Или как у Шекспира,— сколько помнится, в «Генрихе IV»,— Сайленс говорит:

Будь что будет — все равно,
Были б девки да вино!

Я старался перевести свои мысли на другие рельсы и устремить их на «веселенькие сюжеты»...

Нет! Думы мои мчатся все по тому же направлению... Все как будто чего-то жаль, чего-то совестно... Но — если разобрать хорошенько — чего же мне совеститься? Не я первый и не я *последний* обманул женщину и подбросил своего ребенка в воспитательный дом!.. И чего ж мне жалеть? Положим, вокруг меня уж слишком тихо, пусто... А зато, с другой стороны, как спокойна жизнь холостяка... Разумеется!.. Но... господи! Да что ж это? Отчего ж в этот святочный вечер вдруг напала на меня такая смертельная тоска?

Хоть уж поскорее прошли бы эти праздники...

1891 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МАССОВАЯ СЕРИЯ

Павел Владимирович Засодимский

НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ
ПЕРЕД ПОТУХШИМ КАМЕЛЬКОМ

Редактор *С. Розанова*
Художественный редактор *И Жихарев*
Технический редактор *З. Евдокимова*
Корректор *Т. Лукьянова*

Сдано в набор 16/V 1960 г. Подписано к печати 18/VII 1960 г. Бумага 84×108¹/₃₂. 2,5 печ. л 4,1 усл. печ. л. 3,81 уч.-изд л. Тираж 120 000 экз. Зак. 903. Цена 75 коп.
С 1/I 1961 г. цена 8 коп.
Гослитиздат,
Москва, Б-66, Н.-Басманная, 19.

Полиграфкомбинат имени Я. Коласа,
Минск, Красная, 23.

75 коп.
С 1/I 1961 г. — 8 коп.